

Когда Нина знала

Автор:

[Давид Гроссман](#)

Когда Нина знала

Давид Гроссман

Литературные хиты: Коллекция

Новый роман от лауреата Международной Букеровской премии Давида Гроссмана.

История женщин, чьи судьбы могли сложиться иначе.

Вера. Нина. Гили. Три поколения женщин, которые связаны общей болью.

Они собираются вместе впервые за долгие годы, чтобы отпраздновать девяностолетие Веры. Ее внучка Гили решает снять фильм о бабушке, и семья отправляется в Хорватию, на бывший тюремный остров Голи-Оток.

Именно там впервые Вера рассказывает всю историю своей жизни.

Много лет назад она сделала трудный выбор, за которым последовало заключение в тюрьму. Вера знала, на что идет, как знала и то, что ее шестилетняя дочь Нина останется одна.

Почему она так поступила?

Есть ли этому оправдание?

И, наконец, как этот выбор изменил жизнь всей семьи?

«Гроссман не только мировая суперзвезда, но и один из по-настоящему выдающихся писателей современности». – Галина Юзефович

«Эта книга основана на истории одной хорватской женщины. Она мне ее рассказала, и эта история так меня поразила, что я три года писал книгу». – Давид Гроссман в интервью для Lenta.ru

«Гроссман – великий механик души». – Haaretz

«Давид Гроссман провел потрясающее исследование, как одна трагедия влияет на последующие поколения». – Kristine Huntley, Booklist

Давид Гроссман

Когда Нина знала

David Grossman

WHEN NINA KNEW (LIFE PLAYS WITH ME)

Copyright © David Grossman, 2019

This edition published by arrangement with The Deborah Harris Agency and Synopsis Literary Agency

© Сегаль Г., перевод на русский язык, 2022

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

* * *

Рафаэлю было пятнадцать, когда мать умерла, избавив его от собственных страданий. Шел дождь, поливая кибуцников[1 - Кибуц – сельскохозяйственная коммуна в Израиле, характеризующаяся общностью имущества и равенством в труде и потреблении. Кибуцники – члены этой коммуны.], сгрудившихся под зонтиками на маленьком кладбище. Тувия, отец Рафаэля, убивался и плакал. Он много лет преданно ухаживал за женой и теперь стоял, потерянный и осиротевший. Рафаэль, одетый в шорты, держался особняком, глаза и голову прятал под капюшон, чтобы не заглядывали в его сухие глаза. «Теперь, когда она умерла, – думал он, – пусть видит все, что я про нее думаю».

Это случилось зимой 1962 года. Через год его отец повстречал Веру Новак, приехавшую в Израиль из Югославии, и они стали парой. Вера приехала в Израиль с единственной дочкой Ниной, семнадцатилетней девчонкой, высокой и белокурой, удлинненное лицо которой, очень бледное и красивое, было лишено всякого выражения.

Мальчишки из класса Рафаэля прозвали Нину Сфинксом; им нравилось подкрадываться к ней сзади и дразнить именно в те моменты, когда она сидела, обхватив себя руками и уставившись в одну точку. Пока однажды девочка один раз не схватила двух задир, которые ее изображали, и не расквасила им физиономии. Таких тумачков в кибуце еще не видывали. Трудно поверить, сколько силы и ярости вдруг выявилось в ее тонких руках и ногах. Поползли слухи. Говорили, что, когда ее мать сослали в ГУЛАГ, Нина еще девчушкой оказалась на улице. Произнося слова «на улице», люди сопровождали их многозначительными взглядами. Говорили, что в Белграде она связалась с бандитской шайкой, похищала детей, чтобы получать за них выкуп. Говорили... Люди охочи до разговоров. Ни рассказы про это избиение, ни другие сплетни и слухи не пробивались сквозь туман, в котором Рафаэль жил после маминой смерти. Долгие месяцы он пребывал в каком-то внутреннем забытии. Два раза в день, утром и вечером, глотал по таблетке сильного снотворного, которое брал из маминой аптечки. И Нину, когда случайно сталкивался с ней в кибуце, даже не замечал.

Но как-то вечером, примерно через полгода после маминой смерти, он, срезая путь, шел к спортзалу через плантацию авокадо, и навстречу ему шла Нина. Шла с опущенной головой, обхватив себя руками, будто на улице сильная стужа. И Рафаэль вдруг обмер, внутри все взмыло, как струна, почему – он и сам не знал. Нина была погружена в себя, его не замечала. Он увидел ее шаг. Первое – это шаг. Легкий, сдержанный. Высокий и ясный лоб. И платье, голубое, простое и

легкое, развевающееся где-то чуть выше колен.

С каким выражением на лице он это рассказывал...

Только когда она подошла совсем близко, Рафаэль увидел, что девочка плачет тихими, придушенными слезами. И тут и она его заметила и остановилась. И вся съежилась. На пару секунд их взгляды пересеклись, и можно сказать, что, увы, до дня последнего. «Небо, земля, деревья, – сказал мне Рафаэль. – Не знаю... Я почувствовал, будто вся природа вдруг изменилась».

Нина первая пришла в себя. Она сердито фыркнула и быстро удалилась. Он еще успел окинуть взглядом ее лицо, которое тут же утратило всякое выражение, и что-то в нем всколыхнулось. Рафаэль протянул руку ей вслед – ну прямо вижу его там, как он стоит, вытянув руку.

И так вот и застыл с протянутой рукой на сорок пять лет.

Но тогда, на той плантации авокадо, еще не подумав и не заколебавшись, и не запутавшись в собственных комплексах, он вскочил и кинулся вслед за ней, чтобы сказать ей, что все понял, как только ее увидел. «Все пробудилось к жизни», – сказал он мне. Я попросила объяснить. Он как-то смешался, забормотал, как все в нем угасло за годы материнской болезни и еще сильнее после ее смерти. А тут все внезапно стало неотложным и судьбоносным и возникла уверенность, что и она ответит тем же.

Нина услышала, что его шаги преследуют ее, остановилась, развернулась и оглядела его медленным взглядом. «Чего надо?» – внезапно пролаяла она ему в лицо. Рафаэль отпрянул, оторопев от ее красоты и, наверно, от ее грубости – в основном, боюсь, от смеси красоты с грубостью. В нем и по сей день это есть: слабость к женщинам, у которых имеется капелька, щепотка мужицкой наглости, даже хамства, этакая перчинка. Рафаэль, Рафи...

Нина встала, уперев руки в бока, из нее «выпрыгнула» жесткая уличная девчонка, дикий зверек. Раздув ноздри, она его обнюхала, и Рафаэль увидел жилку, пульсирующую на ее шее, и вдруг ощутил боль в губах – так он мне рассказал – прямо жжение и жажду.

«Ясно, поняли, – подумала я, – ты не обязан излагать все подробности».

На щеках у Нины еще блестели слезы, но глаза холодные, почти змеиные. «Катись отсюда, козел!» – сказала она, и он потряс головой, мол, ни за что, и Нина медленно приблизила к его голове свой лоб, приблизила и отодвинула, будто в поисках верной точки, а он зажмурился, она ударила со всей дури, и Рафаэль отлетел назад и свалился в дупло дерева авокадо.

«Сорт Эттингер», – поспешил он уточнить, чтобы я, не приведи господь, не забыла, как важен каждый штрих этой сцены, ибо именно так и строятся мифы.

Ошарашенный, он влетел в дупло, потрогал вздувающуюся на лбу шишку, встал на ноги, и все вокруг закружилось. С тех пор как умерла мама, Рафаэль ни к кому не прикасался и никто не прикасался к нему, кроме тех, с кем случалось драться. Но тут было что-то другое, так он это ощущал, она пришла, чтобы наконец-то вскрыть ему мозг, вызволить его из страданий. И, ослепнув от боли, он выкрикнул ей то, что ему открылось только что, в тот миг, как ее увидел, и он сам был потрясен, когда изо рта полилась грязь, срамота. «Язык отморозков, – сказал он мне, – хочу тебя трахнуть, типа этого. Но в какие-то полсекунды я по ее лицу увидел, что, несмотря на всю эту мерзость, она меня поняла».

Может, все так и было, откуда мне знать, почему бы не подобреть к ней и не подумать, что девчушка, родившаяся в Югославии и несколько лет (как это выяснилось позже) мотавшаяся брошенным ребенком, без папы и без мамы, что эта девчушка, несмотря на подобное вступление, а может, именно из-за него, и правда на секунду прониклась состраданием к этому мальчишке из израильского кибуца, мальчишке замкнутому – таким я себе представляю его в шестнадцать лет – одинокому, с башкой, полной тайн, и фантазий и стремлений к подвигам, о которых никто на свете не знает. Мальчишке печальному и мрачному, но красивому, хоть плачь.

Рафаэль, мой отец.

Есть известный фильм, не вспомню сейчас, как он называется (не стоит тратить время на «Гугл»), в котором герой возвращается в прошлое, чтобы что-то в нем исправить или предотвратить какую-то мировую войну или что-то еще. Вот и я, все бы я отдала за возвращение в прошлое, но только для того, чтобы не дать встретиться этой парочке!

Все дни, а главным образом ночи, что последовали дальше, он будет грызть себя за то, что проморгал этот дивный миг. Он перестал глотать мамино снотворное, чтобы не затмевало яркость любви. В кибуце он искал ее повсюду и не находил. В те дни Рафаэль почти ни с кем не общался и потому не знал, что Нина ушла из квартала холостяков, в котором проживала вместе с матерью, и раздобыла себе комнатку в старом заброшенном строении времен отцов-основателей кибуца. Строение это было чем-то вроде поезда с крошечными отсеками, и стояло оно за фруктовыми плантациями, в том месте, которое кибуцники с присущим им великодушием называли «Лепрозориум». Там жила небольшая группа мужчин и женщин, в большинстве своем волонтеры из-за границы, которые, не найдя себе применения, так здесь и застряли, и никто не знал, что с ними делать.

Тем временем страсть, родившаяся у него в тот час, когда Нина встретила его на плантации авокадо, ничуть не растеряла своего огня, напротив, с каждым днем она все сильнее распалая его душу. «Если Нина согласится хоть раз со мной переспать, ее мимика точно к ней вернется», – абсолютно серьезно думал он.

Про эту свою идею он рассказал мне во время разговора, который мы засняли тысячу лет назад, когда ему было тридцать семь. Это был мой дебютный фильм, и утром, через двадцать четыре года после того, как он был заснят, мы с Рафаэлем в приступе внезапной ностальгии решили его посмотреть. В этом месте фильма мы видим, как он кашляет, чуть не задыхается, скребет свою растрепанную бороду, снимает, надевает и снова снимает кожаный ремешок часов и – что главное – не поднимает глаз на свою молодую интервьюершу, то есть на меня.

«Знаешь, а у тебя в шестнадцать лет было полно самоуверенности!» – слышу я, как говорю в картине льстивым голосом. «Это у меня-то? – удивляется Рафаэль в картине. – Самоуверенности? Да я был как листок на ветру». – «А я вот как раз считаю, – отвечает интервьюерша дико фальшивым голосом, – что это самое оригинальное признание в любви, какое я только слышала».

Когда я брала у него это интервью, мне было пятнадцать лет, и сказать по совести, я до того момента не слышала ни единого признания в любви, ни своеобразного, ни банального, из уст кого-то, кто не я-сама-перед-зеркалом в черной беретке и загадочной косынке, скрывающей мне пол-лица.

Видеокассета, маленький штатив, микрофон, прикрытый серой губкой, которая уже и заворсилась. На этой неделе, в октябре 2008 года, их нашла моя бабушка Вера в картонной коробке на своих антресолях вместе со старенькой камерой «Сони», через глазок которой я в те годы познавала мир.

Конечно, назвать эту штуку фильмом – малость преувеличение. Речь идет о нескольких эпизодах, воспоминаниях о юности моего отца, разбросанных и не до конца обработанных. Звук жуткий и изображение нечеткое и зернистое. Но в основном можно понять, что там происходит. На коробке Вера черной тушью написала: «ГИЛИ – ВСЯКОЕ/РАЗНОЕ». У меня нет слов описать, что этот фильм со мной делает, как мое сердце выпрыгивает при виде той девчушки, какой была я, девчушки, которая выглядит здесь, в фильме (не преувеличиваю), человеческим вариантом птицы додо, той, которой, как мы помним, только вымирание не дало умереть от смущения. То есть существом, которое в глубине души еще не решило, что оно такое и чем хочет стать, и перед которым все еще открыто.

Сегодня, через двадцать четыре года после того, как снята эта беседа, я сижу в кибуце возле своего отца в Верином доме, гляжу на них двоих и поражаюсь, до чего же я в этом фильме вся напоказ, даже при том, что я только интервьюерша и меня почти не замечают.

Несколько долгих минут мне никак не сосредоточиться на том, что мой отец рассказывает про себя и про Нину – как они познакомились и как он ее любил. Я сижу рядом с ним, вся сгорбившись, скукожившись от мощи внутренних переживаний, которые без всякой фильтрации как вопль рвутся наружу из той девчонки, какой я была. Вижу ужас в ее глазах, потому что все еще так неопределенно, слишком неопределенно; неопределенны даже такие вопросы, как хватит или не хватит ей жизненных сил или насколько в ней возобладает женщина, а насколько – мужчина. А ей уже пятнадцать, и она еще не знает, какое решение в подвалах эволюции будет принято по ее вопросу.

«И вот, – думаю я, – если бы сегодня я смогла на секунду, всего на секунду впорхнуть в ее мир, показать ей себя сегодняшнюю, скажем, себя на работе или себя с Меиром, даже себя ту, что сейчас, в нашей ситуации, я бы ей сказала: да ты не трусь, подруга, в конце концов с некоторым напрягом, с некоторыми компромиссами, с капелькой юмора, с определенной степенью уступок для пользы дела – со всем этим и для тебя тоже найдется место, место, которое только для тебя; и будет у тебя любовь, будет некто, кто станет искать именно такую вот крупную женщину с ароматом птицы додо».

Я хочу вернуться в начало, в инкубатор семьи. Успею, что успею, пока не взлетим на остров. Отец Рафаэля, Тувия Брук, был агрономом, который курировал все сельскохозяйственные угодья от Хайфы до Назарета, а также занимал ответственные посты в кибуце. Был он мужчиной красивым и серьезным, который много делал и мало говорил. Он любил Дуси, свою жену, и в годы ее болезни ухаживал за ней как мог. После ее смерти в кибуце с ним заговорили о Вере, Нининой маме. Тувия колебался. Мешала какая-то ее нездешность. Всегда, в любой ситуации она красила губы и напяливала сережки. Акцент ее был тяжелым, иврит странным, да и сегодня оно все то же, никто другой не говорит как она, и даже голос ее звучал для уха как-то галутно[2 - Галут – еврейская диаспора.]. Как-то раз, когда они выходили из столовой, один старинный друг из группы югославов положил ей на плечо руку и сказал: «Она стоящая женщина, Тувия. Знай, что по ней такое прокатилось, трудно поверить, и не все еще можно рассказать».

Тувия пригласил ее к себе домой, для знакомства. Чтобы сбавить неловкость этой встречи, Вера привела с собой подругу, свою землячку из Хорватии, страстную любительницу фотографии. Обе сидели молча, скрестив ноги. В неудобных креслах, изготовленных из металлических стержней, оплетенных тонкими нейлоновыми шнурами, которые впиваются в попу.

Им потребовалась самодисциплина монахов, идущих впереди колонны, чтобы не расхохотаться, когда Тувия попытался притащить из кухни угощение, заранее приготовленное его сыновьями. Потом в течение тридцати двух хороших, даже счастливых лет совместной жизни Вере нравилось передразнивать эти его первые минуты – как он идет в кухню за миской арахисовых орешков или соленых палочек и продолжает свой рассказ про личинки червей, про моль и про огонь в кострах, и возвращается к ним с пустыми руками, и, виновато улыбаясь с красивой ямочкой на левой щеке, топает обратно в кухню и приносит оттуда баночку с полевыми цветами.

Пока отец Рафаэля совершал этот свой сложный брачный танец, Вера осматривалась вокруг, пытаясь что-то узнать про его умершую жену. На стенах не было никаких фотографий или портретов, не было ни полок с книгами, ни ковров. Абажур на торшере был в дырках от моли (были ли это мотыльки, тянущиеся к лампе, о которых он рассказывал?). Клочки пожелтевшей губки торчали из-под пенистой резиновой обивки дивана. Подруга Веры указала подбородком на сложенное инвалидное кресло и кислородную подушку, запихнутые между стеной и столом. Вера почувствовала, что болезнь, которая

годами царила в этом доме, еще не до конца из него выветрилась. Что какая-то ее часть все еще здесь присутствует. Осознание того, что у нее здесь имеется соперница, толкнуло Веру выпрямиться во весь рост, приказать отцу Рафаэля наконец-то присесть и нормально с ними поговорить. Он тотчас хлопнулся на диван, выпрямился и сидел, скрестив на груди руки.

Вера улыбнулась ему из глубины своей женственности, и его позвоночник вдруг как-то оттаял. Подруга внезапно почувствовала, что она здесь лишняя, и поднялась уходить. Они с Верой быстро перекинулись парой слов на сербскохорватском. Вера пожала плечами – жест, означающий, что, мол, «меня это не волнует». Тувия был мужчиной решительным и уверенным в себе, но сейчас, когда напротив него оказалась эта маленькая женщина с зелеными глазами и острым взглядом, ему показалось, что из-под ног уходит земля. Взглядом настолько острым, что раз в несколько минут нужно отвести от нее глаза. Подруга перед тем, как уйти, попросила разрешения сфотографировать их своим «Олимпусом». Оба застеснялись, но она сказала: «Вы так здорово вместе смотрите», – и они взглянули друг на друга и впервые увидели, что могут оказаться парой.

Ради съемки Вера поднялась со своего пыточного кресла и под села к Тувии, на его узкий диван. На черно-белой фотографии Вера сидит откинувшись назад, опершись на руку, смотрит на него чуть отстраненно и улыбается. Ощущение, что поддразнивает его и тем наслаждается.

Это 1963 год. Начало зимы. Вере – сорок пять. На лоб ниспадает локон, губы полные, сочные. Брови тонкие, нарисованные карандашом, как у Хеди Ламарр.

Тувии – пятьдесят четыре, на нем белая рубашка с широким воротом, шерстяной свитер ручной вязки с толстыми «косичками». У него густая черная шевелюра с прямым пробором. Руки с огромными кулачищами скрещены на груди. Он смущен, и лоб блестит от волнения.

Тувия сидит нога на ногу, и только сейчас я замечаю, что под столом – два деревянных ящика, покрытых белой скатертью, и большой палец Вервиной правой ноги в открытой босоножке слегка прикасается к подошве левого ботинка Тувии и будто щекочет ее снизу.

Подруга вышла. Вера с Тувией сидят одни, втиснувшись в диван. Когда он поднял руку почесать затылок, Вера заметила черные волосы, торчащие из рукава его свитера. Густые волосы виднелись и на груди и исчезали на красной полоске от бритья на его шее. Это и отталкивало, и притягивало. У ее первого возлюбленного, у ее единственного Милоша, кожа была гладкая, светлая и от загара на солнце становилась медвяной. Верино тело внезапно вспомнило, как они с Милошем, обнимаясь, лезут друг на друга, как котята. Ей нравилось зарыться в его худое, болезненное тело, впрыснуть в него тепло, силу и здоровье, которых у нее хоть отбавляй, и почувствовать, как то, что она вливает в него, и саму ее наполняет. А сейчас у нее свело живот и вытянулось лицо, и она почти уже встала, собираясь уйти. Тувия, не обративший внимания на произошедшую в ней перемену, поднялся на ноги, встал перед ней и сказал, что у него заседание в секретариате, но он считает, что вопрос решен и можно попробовать. И протянул ей руку, как строительную линейку.

Несмотря на тоску по Милошу, это его неуклюжее предложение заставило ее покатиться со смеху. Тувия стоял перед Верой сконфуженный, пытающийся сжаться, как это всегда с ним случалось. «Ну, так что скажешь, Вера?» – спросил он просящим голосом и снова присел на краешек дивана. Тувия казался абсолютно потерянным и совершенно онемевшим. Вера все еще колебалась. Он ей понравился, в нем ощущался мужчина, и он показался ей прямым и понятным («Я сразу увидела его потенциал»), а с другой стороны, она не знала о нем почти ничего.

И именно в этот момент, в самый неурочный час, что характерно для почти каждого важнейшего этапа его жизни, в комнату вошел Рафаэль, младший сын Тувии, с фингалом под глазом, разбитым лицом и запекшейся у рта кровью. Снова ввязался в драку, на сей раз в школе, с ребятами старше него. Как и в любой день и в любую погоду, на нем был все тот же капюшон, что и в день маминых похорон. Он открыл решетчатую дверь, увидел смущенного отца, сидящего возле Веры, и застыл. Вера быстро поднялась и пошла к нему, а он предупреждающе зарычал. Она не испугалась. А стояла напротив него и с любопытством его разглядывала. Рафаэль, как и его отец, смутился под ее взглядом: разумеется, он ее уже видел. Несколько раз встречал ее на дорожках кибуца и в столовой, но, как видно, она не произвела на него никакого впечатления. Маленькая женщина, решительная и быстрая, с поджатыми губами. Это примерно все, что он увидел. Ему, конечно, и в голову не пришло, что она – мать Нины, и днем и ночью бередящей его фантазии. «Ты Рафаэль», – с улыбкой сказала Вера, и прозвучало это так, будто ей известно гораздо больше этого. Не спуская с него глаз, Вера послала Тувию в ванную за синим йодом и

бинтом. И потом протянула руку к покрытому кровью лицу Рафаэля и пальцами коснулась уголков его губ.

Прозвучали резкий вскрик и задушенное ругательство на сербскохорватском. Тувия бегом вернулся из ванной. Рафаэль стоял напуганный, со вкусом чужой крови на губах. Вера попыталась остановить кровь, капающую с ее пальцев на пол. Тувия, который в жизни пальцем Рафаэля не тронул, вдруг кинулся на него, но Вера, прыгнув, вытянула руки и их развела. И одновременно выкрикнула что-то предупреждающее, хриплое и горловое, почти нечеловеческое. Этот ее жест, этот ужасающий звук, который она издала, заставили Рафаэля ощутить себя где-то в глубине детенышем самки. «Самки, которая борется за свое чадо», – сказал он мне.

И в противоречие со всем, что он к ней испытал, внезапно ему дико захотелось стать щенком этой зверины.

Тувия не был человеком жестоким, и то, что у него вырвалось, его напугало. Снова и снова он смущенно бормотал: «Извини, Рафи, прошу прощения». Вера прислонилась к стене, голова слегка кружилась, не из-за крови, кровь никогда ее не пугала. Она закрыла глаза. Веки задрожали и прикрыли быстрый разговор с Милошем. Почти двенадцать лет прошло с тех пор, как он покончил с собой в подвалах для пыток в Белграде. Она сказала ему, что уходит сейчас к другому мужчине, но с ним и с их любовью она не расстанется никогда.

Она открыла глаза и посмотрела на Рафаэля. И подумала: «До чего он похож на отца, и каким потрясающим мужчиной он станет», – но она увидела и то, что сделало сиротство в таком раннем периоде его жизни. Нина, ее дочка, тоже была сиротой, да такой, что трудно представить. Но надлом, и одиночество, и заброшенность Рафаэля вдруг заставили Веру почувствовать себя матерью, чего с ней раньше не случалось. Эту фразу она повторяла мне не раз в течение многих лет и в самых разных аспектах: «Как это возможно, что я никогда раньше такого не испытывала?» Раз я прервала ее: «Но ведь у тебя уже была Нина! У тебя была дочь!» Мы тогда шли домой приятной тропинкой, что бежала по полям к кибуцу (шли под руку, она и по сей день любит так со мной прогуливаться, несмотря на разницу в росте), и она со своей жуткой прямолинейностью: «Эта беременность Ниной была у меня вроде как внематочная, а с Рафи все вдруг сложилось».

Рафаэль и Тувия почти перестали дышать под ее взглядом, и это был тот момент, когда она уже не сомневалась, что выйдет за Тувию замуж. И она бы за него вышла – так она говорила не раз, – даже если бы он был урод, и подонок, и барабанщик в борделе – ее личное выражение, одна из вещей, значение которой так до конца и не прояснилось и которым семейство Тувии с удовольствием пользовалось всю дорогу. «Потому что чего сто?ят в такой вот момент все твои красивые идеалы, – рассуждала Вера сама с собой, – чего сто?ят коммунизм и дружба народов, и сияющая красная звезда, и высокий образ Павки Корчагина из книги «Как закалялась сталь», чего сто?ят все войны во имя справедливого и прекрасного мира, в которых ты участвовала?» – «Ни хрена они не сто?ят, – ответила она себе, – если мой сегодняшний долг – этот вот мальчишка».

Минуту-другую каждый из них был погружен в себя. Мне нравится представлять их такими, как они стоят все трое с опущенными головами, будто вникая в то, как некий раствор начинает разливаться внутри них. На самом деле это тот момент, когда создалась моя семья. Это также момент, когда в конечном итоге и сама я начала проклевываться на божий свет.

Тувия Брук был моим дедом. А Вера – она моя бабушка.

Рафаэль, Рафи, Рейш – он, как известно, мой отец, а Нина...

Нина не здесь.

Ее нет, Нины.

Но это всегда было ее особенным вкладом в семью.

А что я?

Тетрадь хорошего качества, 72 листа высокопробной бумаги, не содержащей древесных волокон, и четверть страниц уже заполнены, а мы все еще не представились как положено.

Гили.

Имя, как ни погляди, проблематичное, особенно когда его произносят при команде.

Рафаэль убрался к себе в комнату, маленькую и темную, как нора. Он закрыл дверь и присел на кровать. Эта маленькая женщина его напугала. Никогда он не видел отца таким слабаком. Позади закрытой двери Вера провела Тувию к дивану и дала ему забинтовать два своих укушенных пальца. Ей нравилась белизна собственной руки, лежащей в его лапах. Между ними царило доброе молчание. Тувия закончил бинтовать и закрепил повязку английской булавкой. Он приблизил лицо к ее пальцам, откусил зубами непослушную нитку, и от этой его мужиковатости сердце ее растаяло. Он спросил, больно ли ей. Вера пробормотала: «Так мне и надо». Они тихо поговорили. Тувия сказал: «У мальчишки это с тех пор, как умерла его мать. Вообще-то с тех пор, как она заболела». Вера положила ладонь перевязанной руки ему на ладонь. «У меня есть Нина, а у тебя – Рафаэль». Этот тихий разговор их сблизил. Она сдержалась, не дала своим пальцам погладить его шевелюру.

«Ну, так что скажешь, Вера, может, мы...»

«Сойдемся. Попробуем, почему бы и нет».

Пять дней назад мы отпраздновали Верино девяностолетие (плюс два месяца. В сам день рождения у нее была пневмония, и мы решили с этим повременить). Празднование семья устроила в клубе кибуца. «Семья» – это, разумеется, родственники Тувии, к которым Вера всего лишь примкнула, но за сорок пять лет стала их душой. Всегда забавно думать, что большинство внуков и правнуков, которые лезут к ней обниматься и дерутся за ее внимание, даже не подозревают, что она им вовсе не биологическая бабушка. Каждому нашему ребенку мы устраиваем скромный обряд посвящения, на котором сюрпризом, обычно в день его десятилетия, ему открывают правду. И тогда – всегда и без исключения – он или она задает один-два вопроса, на лоб набегают морщинка, чуть прищуриваются глаза, а потом – отрицательный взмах головой и быстрое передергивание плечами, будто отбрасывающее новую досадную информацию.

Вот пожалуйста, дочка дедушки Тувии, старшая сестра моего отца, произнесла маленькую речь: «После того, что они тридцать два года прожили вместе, я

совершенно искренне считаю, что Вера не только неотъемлемая и постоянная часть нашей семьи, но и что без Веры мы бы вообще не были той семьей, каковой являемся». Сказала, как всегда, скромно и просто, и Рафаэль был не единственный, кто смахнул слезу. Вера скривила рот – есть у нее такая ироническая гримаса на то, что показалось слишком приторным, – и Рафаэль, который фотографировал, как и на всех семейных торжествах, шепнул мне уголком рта: «До чего же Верина оценка или похвала всегда характерны для нее одной».

Как только началось торжество, она сообщила, что в такой день у нее у одной есть право осыпать саму себя комплиментами, а потому можно сразу приступать к застолью. Но тут уж семья встала на дыбы. Представители всех поколений и всех возрастов вставали и высказывали ей похвалы – дело необычное, потому что на самом деле Бруки не говоруны и им редко приходит в голову так вот рассказывать кому-то столь интимные вещи, да еще и прилюдно. Но вот сказать их Вере им захотелось. Почти у каждого в этой комнате был рассказ о том, как Вера ему помогла, за ним поухаживала, спасла его от чего-то плохого или от самого себя. Мой рассказ был самым сенсационным. Он касался некоего злодеяния, причиненного моей душе, когда мне было двадцать три года, удара, нанесенного мне неким человеком, да исчезнет имя его из всех моих воспоминаний. Но и мне самой, и Вере было ясно, что все, что следует рассказать, я, по обыкновению, поведаю ей наедине, как говорится, с глазу на глаз. Особенно трогательным был момент, когда Том, внук Эстер, которому было два с половиной, обкакался и, как бы демонстрируя свою независимость, ни за что не согласился на то, чтобы подгузник ему поменяла мать или бабушка Эстер, и когда та спросила, кого же он выбирает для этой цели, он радостно завопил: «Та`ту Веру!» Чем вызвал взрыв смеха.

Вера с потрясающей ловкостью прыгнула со своего кресла, побежала, почти как девчонка, только что тело слегка скривлено в левый бок, и поменяла в сторонке Тому подгузник, и, пока это делала, подала нам знак, чтобы продолжали толкать речи и «раз уж решили, так ради бога...» А тем временем она вся была сосредоточена на улыбающемся личике Тома, и ворковала ему в пупок что-то на сербскохорватском с венгерским акцентом, и, конечно же, прислушивалась к словам, которые у нее за спиной о ней говорились. И когда, несмотря на свои девяносто лет, она помахала в воздухе переодетым Томом, который хохотал и пытался стянуть с нее очки, я вдруг почувствовала, как глубоко внутри будто кто-то меня куснул. Боль из-за того, что никогда в жизни я такой не стану и этого не сделаю, и как не хватает мне моего мужчины, Меира... И подумала, что нужно было попросить его прийти со мной, ведь знала же

заранее, какой незащищенной и уязвимой буду здесь, с Ниной.

За сорок пять лет до этого, зимой 1963 года, в тот вечер, когда Вера и его отец Тувия собирались стать парой, Рафаэль пошел в спортзал кибуца. Позади этого зала распростерлось пустое песчаное поле, и в последний год, с тех пор, как умерла мама, он упражнялся там в метании ядра. Солнце село, но в небе еще разлит слабый свет, и в воздухе уже замелькали стеклышки дождя. Раз за разом, десятки раз метал Рафаэль ядра весом в три-четыре килограмма. Ярость и ненависть потрясающе улучшили его достижения. Когда он почувствовал, что замерз, и уже захотел вернуться в комнату интерната, зарыться головой в подушку и не думать про то, что отец его будет делать ночью, а то и прямо сейчас, с этой своей югославской шлюхой, перед ним возникла Вера. Она шла с коричневым чемоданом, огромным, почти с нее ростом. Поставив этот свой обшитый кожаными ремешками и металлическими гвоздиками чемодан в грязь (классная штукавина, на которую я давно положила глаз) и вытянув вперед руки, она встала перед Рафаэлем, будто отдавая ему себя на суд. Что ему оставалось делать! Не глядя на нее, он продолжил метать ядра. За те две недели, что он ее встретил и укусил, Рафаэль успел узнать, что Вера – мать той девчонки, в которую он влюблен. Этот факт был столь ужасен, что он изо всех сил старался о нем не думать, но сейчас Вера стояла перед ним как живое напоминание.

Дождь стал для нее неожиданностью. На ней был тонкий свитерок баклажанового цвета с закругленным белым воротничком с рюшками, а на ногах – белые туфли, которые уже покрылись грязью. Маленькая фиолетовая шляпка была надета набекрень – факт, разозливший Рафаэля не меньше, чем сама шляпка. Были на ней также тоненькое золотое ожерелье и жемчужные сережки – вещи, которые нацепляют на себя только горожанки.

Господи, сейчас, когда я это пишу, до меня вдруг дошло: это же был Верин свадебный наряд.

И это была ее брачная ночь.

Со своим тяжелым венгерским акцентом – дома в Хорватии они говорили в основном на венгерском – она спросила: «Рафаэль, можешь минутку со мной поговорить?», а он надвинул на глаза свой капюшон, повернулся к ней спиной и

метнул в темноту еще одно ядро. Вера с минуту поколебалась, а потом шагнула вперед, подняла ядро и взвесила его в руке. Рафаэль застыл в середине броска и будто забыл, что делать дальше. Без всякой подготовки, без вращения вокруг собственной оси, Вера одним глубоким толчком швырнула железное ядро на невероятное расстояние, может, на метр дальше, чем он.

Рафаэль был парнишка худой, но сильный, один из самых сильных среди сверстников. Он поднял другое ядро, поместил его во впадину плеча, закрыл глаза и, не торопясь, вложил в него все отвращение, которое к ней испытывал.

Почему-то этого ему не хватило, и он продолжал себя заводить да еще и вкладывать в ядро ненависть к отцу, который собирался предать маму с этой чужачкой, которая к тому же и мать Нины. Даже и эта мысль не смогла заставить толкнуть ядро, и он продолжал вращаться вокруг собственной оси, пока вдруг внутрь не прорвалась еще и мутная струя ярости на мать, именно на нее, на то, что, когда он был еще пятилетним малышом, она вдруг начала отдаляться и уходить в свою болезнь.

Темнота сгустилась, дождь полил сильнее. Вера быстро потерла руки то ли от холода, то ли от радости состязания, которая ее распалила. Рафаэль продемонстрировал мне это в картине, которую я снимала. Эту черту я в ней знала и не любила. Она, кстати, и по сей день такова: в минуты конфликтов или споров, обычно связанных с политикой, в ней вдруг пробуждается что-то железное, негибкое – где-то внутри, в глазах, даже в коже. Если, допустим, в ней зародилось подозрение, что кто-то из семьи или из кибуца согласен с каким-то аргументом правых или осмелился проронить доброе слово о поселенцах[З - Поселенцы – жители израильских поселений на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.], тут, не приведи господь, «жди урагана» – это светопреставление, громы, молнии и дым коромыслом. Даже и мальчишкой Рафаэль это сразу чувствовал, говорил, что это «не материнское поведение», хотя что такое «материнское поведение», точно и не знал. Когда Вера вторглась в его жизнь, он был полным незнайкой по части всего, что связано с материнством. Она очень быстро сняла с себя ожерелье, браслеты и серьги, положила все это рядышком на чемодан и прикрыла своей дурацкой шляпкой. Когда все легло на место, она легкими движениями закатала рукава своего свитера и блузки, и тут Рафаэль увидел мышцы ее рук и переплетения ее сухожилий. Он глядел на них, открыв рот: как она с такими-то мышцами собирается стать чьей-то мамой? Мир вокруг уже потемнел. С горы Кармель прокатился гром. Вера с Рафаэлем едва различали ядра, которые они метали.

Лишь их черный металлический бок на мгновение взблескивал в свете фонаря, что над тропой, а то под мигание далекой молнии. Ядра падали все ближе к их ногам, и когда они поднимали их из грязи, у них почти уже и не было сил метнуть их снова. Но они продолжали, продолжали оба, металы, стонали и вставали задохнувшись, прижав руку к боку. Каждые несколько минут молчали рядом на поиски ядер, что валялись в лужах, как откормленные головастики.

За минуту до того, как Рафаэль признался, что нет у него больше сил, она положила свое ядро на землю, возвела вверх руки и пошла к чемодану. У него было ощущение, что проиграла она ему специально, и это ему понравилось. Поступок матери («Ты должна понять, Гили, в то время я делил все человечество – смейся-смейся, и мужчин тоже – на две половины: кто мать и кто не мать»). Вера встала к нему спиной, быстро надела свои браслеты и серьги, напялила свою фиолетовую шляпку и сдвинула ее набекрень, что пробудило в Рафаэле желание сорвать ее с головы, кинуть в лужу и попрыгать на ней обеими ногами. Потом она к нему обернулась. Тело ее тряслось от стужи, губы синие, но взгляд твердый.

«Выслушай меня. Я пришла сюда, чтобы с тобой поговорить перед тем, как войду к вам в дом. Мне важно, чтобы ты знал. Я не хочу быть твоей мамой ни в коем разе, я просто хочу тебя любить». Иврит у нее был сносный – еще в Югославии, когда ждала разрешения на выезд в Израиль, учила иврит вместе с Ниной у одной еврейской журналистки, – но из-за акцента ему показалось, что она говорит: «Просто хочу тебя убить».

«Ты в жизни не сможешь стать мне мамой, – прошептал Рафаэль про себя, – в жизни не сумеешь жить, как моя мама». В последние годы своей болезни его мать лежала за дверью спальни, и он почти ее не видел. Иногда, когда она звала его из своей комнаты басом, который у нее появился, он выскакивал из окна своей комнаты и убегал. Ему было невыносимо ее лицо, распухшее, как надувной шар, как карикатура красивой и изящной мамы, которая у него была, невыносима эта кислая вонь, которая от нее исходила, заполняла весь дом и липла к его одежкам и к его душе. Когда он был маленьким, пятилетним или шестилетним, бывали ночи, когда его отец Тувия относил его на руках в мамину кровать, чтобы она посмотрела на сына и прикоснулась к нему. А когда наутро Рафаэль просыпался, по запаху пижамы всегда зная, что ночью его относили к маме, он требовал, иногда в истерике, чтобы пижаму немедленно бросили в стирку.

Вера сказала Рафаэлю: «Никто в мире не может стать тебе мамой, и это твой дом, а я в нем всего лишь гостя. Но я обещаю to do my best, и если ты меня не захочешь, тебе стоит сказать одно слово, и я в ту же минуту заберу свои вещи и уйду».

Минута? Пять минут? Сколько времени простояли они так под дождем? Тут есть разные версии. Вера клянется – включая церемониал: сухой плевок в сторону, когда верхняя губа прикрывает губу нижнюю, – что это длилось не меньше десяти минут. Рафаэль, не вдаваясь в тонкости, утверждает, что не больше полминуты, а я, как всегда, склонна поверить ему.

В моем старом фильме, который сейчас перед нами на Верином экране, звучит мой голос, цитирующий Рафаэлю нечто, что когда-то я услышала от его отца Тувии, моего дедушки-агронома: «Есть семена, которым для прорастания хватит лишь зернышка почвы», фраза, так сильно впечатлившая меня в мои пятнадцать лет. Десять минут или полминуты – Вера тогда сильно схватила его за руки, и он свои не отдернул. У нее все еще было забинтовано то место, которое он укусил, но она своими миниатюрными большими пальцами все гладила и гладила его пальцы и ждала, когда Рафаэль перестанет плакать. Оказалось, что одного зернышка почвы может хватить и на двоих, если они в полном отчаянии.

Потом Вера своим приказным бен-гурионовским тоном сказала: «Рафаэль! Пошли!» Нести свой чемодан она ему не дала. Они молча двинулись в комнату Тувии. Когда-нибудь, когда я начну снимать свои фильмы (в скором будущем, иншаллах), я непременно воссоздам сцену этой прогулки под дождем, хлеставшим по диагонали в желтых лучах фонарей. По пути им не встретилось ни души. Все кибуцники сидели по домам, шли одни они, вымокшие, расчувствовавшиеся, без слов принявшие этот свой договор, ставший для них незыблемым, договор, который продержался сорок пять лет и ни разу не был нарушен.

Они вошли в квартиру – «комнаты», как по-кибуцному, – Вера поставила свой чемодан перед дверью. Они услышали, как его отец напевает арию из «Похищения из сераля», арию, которую он всегда пел, когда был в хорошем настроении. Вера посмотрела на Рафаэля. «Придешь в тихий час?» Он стоял с опущенной головой и страдал. Она двумя своими перевязанными пальцами приподняла ему подбородок. Ни одному человеку в мире не пришлось бы в голову такое с Рафаэлем проделать. «Такова она, дорога жизни, Рафаэль!» – сказала

она. Ему казалось, что после этой ночи он не сможет смотреть папе в глаза, да и Вере тоже. «Доброй ночи», – сказала она. И он шепотом повторил это за ней.

Вера подождала, пока он не исчезнет за поворотом тропы. Потом вытащила из чемодана маленькую сумочку и с помощью круглого зеркала и косметического карандаша привела в порядок свое лицо. Рафаэль подглядывал за ней из-за куста бугенвилеи, видел, как она безуспешно пытается распушить мокрые волосы (волосы у нее всегда были жидкие), и глаза его малость забраковали ее физическую и душевную силу; потом она подняла лицо к небу и зашевелила губами. Он решил, что она молится, но потом сообразил, что Вера разговаривает с кем-то исчезнувшим, объясняет ему, слушает его, посылает поцелуй небесам... В глазах Рафаэля она была «вроде женщины, каких показывают в кино», но в отличие от кино она была прагматична, решительна, нетерпелива и, как и говорила про себя, «не терпела вредных и злых».

Вера задрала нос, подбородок, выпрямилась во весь свой маленький рост. Рафаэль заставлял себя думать про свою скромную, тихую маму, но она поблекла, отказалась ему являться. Вера один раз стукнула сжатым кулаком в дверь дома. Отец перестал петь. Рафаэль знал, что вот он, тот последний миг, когда он еще может что-то сделать. Он лихорадочно искал в себе свою маму, чтобы знала: он хоть в этот момент ей верен или почти верен, чтобы простила его, чтобы он уже смог отказаться от наказаний и постов, которые из-за нее на себя накладывал. Она не послала ему никакого знака, никакого ответа. Их отсутствие испугало, будто стерли часть его души. И тогда он понял, что прощения мама лишила его навсегда. «Как знак Каина», – сказал Рафаэль моей камере, и голос его задрожал. Я, как известно, была всего лишь пятнадцатилетней, но уже тогда начинала что-то понимать о семье, об упущениях и о вещах, которых задним числом не исправишь. Главное, чего мне хотелось, – это перестать снимать, подойти, обнять и утешить его, и, конечно же, я не решилась. Он бы мне не простил, если бы я изъяла такую плетку, как фильм.

Дождь мягко падал на землю. Лампа в виде кувшина, что висела над дверью, бросала на Веру желтоватый свет. Тувия открыл дверь и произнес ее имя, сперва в изумлении из-за ее мокрых одежек, а потом лихорадочным шепотом. Снова и снова его повторяя, когда сжимал ее в своих объятиях.

Дверь закрылась. Рафаэль стоял в пустоте. И без понятия, что дальше. Страшно было остаться одному, страшно было, что сейчас придется сделать нечто

ужасное, нечто неизбежное, что-то, что в нем все больше нарастало. Чья-то рука коснулась его бока, и он подпрыгнул от страха. Нина, та, что сводила его с ума и ночью и днем. Ее лицо, белое, красивое, бездушное. Сейчас оно представлялось ему лицом хищной птицы. «Мамуля с папулей гуляют, – сказала Нина с кривой улыбкой. – Значит, и мы можем».

Многие годы спустя Вера рассказывала нам, что она сказала ему, когда вошла в комнату в их брачную ночь: «Прежде чем мы ляжем в постель, я хочу, чтобы ты знал уже сейчас. Я всегда буду тебя почитать и буду тебе самой хорошей и верной подругой. Но лгать я не стану: я женщина, которая в своей жизни способна любить (она произнесла: «любить»); мне нравится эта неправильность, она по-своему точна) только одного мужчину. Не больше. Милоша, который был моим мужем и умер у Тито, я люблю больше всего на свете, больше собственной жизни. Каждую ночь я буду рассказывать тебе о нем и о том, что случилось со мной в концлагере из-за того, что я так его любила. И еще я много плачу». А Тувия сказал: «Хорошо, что ты все откровенно мне рассказываешь, Вера. Значит, нет иллюзий и нет недомолвок. Здесь, в нашей спальне, будут фотографии обоих, твоего мужа и моей жены. Ты будешь рассказывать о нем, а я расскажу тебе о ней, и они будут святыми для нас обоих».

А мы, молодые члены этой семьи (так называемая поросль), что обожали Веру и были с ней все дни шивы[4 - Шива – недельный траур в иудаизме.], стояли, как это принято, опустив головы из уважения к покойнику, а еще чтобы не расхохотаться, когда встретишься глазами с кем-то из стоящих напротив. Вера смахивала жемчужинки слез кончиком лилового платочка, надушенного лавандой (такое существует, ей-богу. До последних нескольких лет Гиляр, ее приятель-бедуин из соседней деревни, привозил ей лаванду мешками). И тут, к нашему всеобщему изумлению, Вера вдруг ровным и совершенно прозаическим тоном заявила: «Но во время... ну, понимаете... мы с Тувией были окружены портретами тех двоих на стене». Она замолчала с каменным лицом, пока мы, «поросль», не кончили задыхаться от смеха, и тогда в очень верно просчитанную минуту добавила: «Они эту стену прекрасно изучили».

И если уж я влезла в этот пикантный уголок жизни и уже осквернила интимную сторону жизни бабушки с дедушкой, так подкину еще вот каких «дровишек»: не помню точно, когда это было, но как-то мы с ней сидели в ее кухоньке метр на метр, и вдруг, ни с того ни с сего Вера мне говорит: «В нашу первую ночь в первый раз, что мы с Тувией, ну, ты понимаешь... Тувия вдруг надевает

«головной убор», так это у нас называлось, при том, что он прекрасно знает, сколько мне уже годочков... и тут я увидела, что он и впрямь джентльмен!»

Наутро, когда Рафаэль еще крепко спал, купаясь в любовной неге, в такой сладости, какой не видывал много лет, Нина запихнула свои вещи в рюкзак и молча вышла из комнаты «Лепрозория», в которой оба они провели ночь. Она напрямик пересекла кибуц и, не постучавшись, вошла в квартиру Веры с Тувией в тот час, когда они сидели за первым своим совместным завтраком. Без всякого предисловия она в подробностях описала им то, что делала с Рафаэлем. Вера посмотрела на нее и подумала, что даже в комнатах пыток в Белграде и даже у надзирательниц в лагере в Голи-Отоке ее не ненавидели так сильно, как ненавидит ее собственная дочь. Она положила нож и вилку на стол и сказала: «На всю жизнь, Нина?», и Нина сказала: «И на потом тоже».

Через много лет Вера мне рассказала, что она тогда поднялась, встала перед Тувией и сказала, что, если он сейчас велит ей уходить, она уйдет, покинет кибуц вместе с Ниной и ему больше не придется их видеть. Он подошел, обнял ее за плечи и сказал: «Никуда ты больше не уходишь, Веруля. Ты дома». Нина посмотрела на них и кивнула. Она и по сей день умеет кивнуть с этакой веселой горечью всякий раз, как сбылось ее дурное предчувствие. Она подняла с пола свой рюкзачок с вещичками, обхватила его, но уйти почему-то не смогла. Может быть, что-то в том, как они стояли напротив нее, изменило ее планы. И тогда вспыхнула быстрая перепалка на сербскохорватском. Нина шипела, что Вера предает Милоша. Вера обеими руками била ее по щекам и кричала, что Милоша она в жизни не предала, что, наоборот, она была верна ему до безумия, ни одна женщина не сделала бы для своего мужчины того, что сделала она. И вдруг воцарилась тишина. Нина, будто почуяв что-то в воздухе, как окаменела. Вера побледнела и замолчала, сжав рот, потом бессильно села.

Нина повесила рюкзак на плечо. Тувия сказал: «Но, Нина, мы хотим тебе помочь... оба хотим. Разреши нам тебе помочь». А она в слезах топнула ногой: «И не ищите меня, слышите? Только посмейте меня искать! – Она повернулась уходить, но остановилась. – Передай от меня привет своему сыночку, – сказала она Тувии. – Твой сын – самый хороший человек из всех, кого я встретила в жизни». На секунду в ее лице засияло что-то детское. Трогательно-чистое. Иногда, когда мое сердце добреет к ней – а у меня порой случаются подобные минуты, человек ведь не из камня сделан, – мне удается напомнить себе, что и наивность оказалась среди тех вещей, которые у нее украли в столь раннем

возрасте. «И скажи ему, что это вовсе не из-за него, – сказала она. – Скажи ему, что женщины будут сильно, без памяти его любить. И что меня он позабудет. Передашь ему, верно?»

И исчезла.

Я снова перебегаю вперед. Пишу ночью и днем. Мы летим послезавтра утром, и до того я с этого стула не встану. Вот еще одно воспоминание, которое, как мне кажется, относится к делу: через много лет после брачной ночи Веры с Тувией (Тувия еще с нами, самый прекрасный дедушка в мире) мы с бабушкой Верой чистим овощи для запеканки у нее в кухне. Время послеобеденное, лучшие часы в кибуце и в кухне. Низкое солнышко пропускает свои золотистые лучи сквозь банки маринованных огурцов, головок лука и баклажанов, что выставлены на подоконник. На столешнице стоит ведро пеканов, которые мы с Верой утром насобирали. Большой Верин магнитофон проигрывает «Besame Mucho» и всякие другие слезливые радости. У нас с ней – минута единения и великой близости. И вдруг она внезапно говорит: «Когда я выходила за твоего дедушку, за Тувия, после Милоша прошло уже двенадцать лет. Я двенадцать лет провела одна. Ни один мужчина пальцем меня не тронул! Ноготком! И я хотела его, Тувия, а как иначе? Но больше всего мне хотелось быть с Тувией, чтобы позаботиться о твоём папе, о Рафи, для меня это было – как это говорят сионисты? – свершением. Но я и боялась постели как огня. До смерти боялась, что будет, и как я узнаю, все ли как надо, и вернется ли ко мне желание вообще. А Тувия не уступал, он ведь был еще сокол, ему всего-то было пятьдесят четыре, да если по правде, так он и сегодня хоть куда, притом, что я уже давно готова эту лавочку закрыть». – «Бабушка! – поперхнулась я. Мне было всего пятнадцать. Да что с этими взрослыми в нашей семье? Никакого желания сбережь святую простоту детей? – Зачем ты мне все это рассказываешь?»

«Потому что хочу, чтобы ты знала все! Чтобы между нами не было секретов».

«Каких-таких секретов? Есть секреты?»

И тут она испустила вздох, вырвавшийся из ее душевного подземелья, о существовании которого я и не догадывалась. «Гили, я у тебя хочу сложить все, что было со мной в жизни. Все».

«Почему именно у меня?»

«Потому что ты как я».

Я уже знала, что из бабушкиных уст это похвала, но что-то в ее голосе и еще больше в ее взгляде меня будто прошло.

«Не понимаю, бабушка».

Она быстро убрала ножик, которым чистила овощи, положила обе руки мне на плечи. Глаза ее уставились в мои. И сбежать некуда. «И я знаю, Гили, что ты никогда и никому здесь не дашь исказить мою историю, направить ее против меня».

Я вроде бы рассмеялась. Вернее, фыркнула от смеха. Попыталась обернуть разговор в шутку. Я тогда про «ее историю» еще ничего не знала.

И вдруг ее глаза вспыхнули бешенством, диким, почти звериным. И, помнится, на минуту меня пронзила мысль, что не хочу я быть детенышем этой зверины.

Нину они, конечно же, искали. Все на свете перерыли, пытались найти помощь в полиции, что ни к чему не привело, а потом обратились к частному сыщику, который прочесал весь Израиль от севера до юга и сказал им: «Ее как земля проглотила. Начинайте привыкать к тому, что она уже не вернется». Но почти через год от нее стали поступать сигналы. Со странной регулярностью, раз в четыре недели приходила пустая открытка, и на ней – ни единого слова. Из Эйлата, из Тверии, из Мицпе-Рамона, из Кирьят-Шмоны. Вера с Тувией ездили по следам этих открыток, двигались по улицам, заходили в магазины и в гостиницы, в ночные клубы и в синагоги, всем, кто попадался по пути, показывали ее фотографию, сделанную еще когда Нина приехала в Израиль. Вера за эти годы сильно похудела, и волосы стали белыми. Тувия сопровождал ее повсюду, возил ее в полученном от кибуца пикапе, следил за тем, чтобы она пила и ела. Когда увидел, что она на глазах угасает, полетел с ней в Сербию, в маленькую деревушку, в которой Милош родился и был погребен. Там, в деревне, Вера была королевой, родственники Милоша любили и почитали ее, вечерами приходили послушать ее рассказы о любви к Милошу. По утрам Тувия чинил моторы старых тракторов и посудомойки, а Вера в широкополой соломенной шляпе усаживалась в кресло-качалку напротив могилы Милоша,

возле серого, покрытого патиной памятника, зажигала длинные желтые свечи и рассказывала ему про свои невзгоды из-за Нины, их дочери, про ее поиски и про Тувию, этого ангела, без которого она не смогла бы всего этого вынести...

Рафаэль отправился на собственные поиски. Минимум раз в неделю он убегал из своего учебного заведения и бродил по улицам городов, по кибуцам и по арабским деревням и просто глядел по сторонам. За эти годы он быстро повзрослел и стал еще красивее и еще удрученнее. Девчонки клеились к нему, с ума по нему сходили. Чуть меньше десяти лет назад, на его пятидесятилетия (Вера, конечно же, не допустила, чтобы такая дата прошла без великого собрания, он и в пятьдесят продолжал быть ее любимым сироткой), она достала из одного из своих ящичков сокровище: конверт с его фотографиями тех лет. Фотографиями тусовок, поездок и соревнований по бегу и по баскетболу и празднований окончания учебы. Ничто из этих влажных взглядов, на него устремленных, из этих улыбок, из этих губ, этих юных, жаждущих его прикосновения грудей, из этих стараний – ничто из всего этого его не задело и не взволновало. «Он в своем бульоне видит одну только Нину», – процитировала Вера поговорку, которой мы, разумеется, в жизни не слышали. И когда он пошел в армию, то в каждый свой отпуск продолжал ее искать. Потом на полученные из Югославии деньги (сам маршал Тито, государственный и военный деятель, распорядился пожизненно выплачивать ей пенсию) Вера купила ему подержанный фотоаппарат «Лейка». Она надеялась, что «Лейка» поможет Рафаэлю справиться со своей трагедией и, может быть, воздаст ему за его тоску, но он начал фотографировать свои поездки с поисками.

Он странствовал по дорогам, описывал Нину всем встречным и поперечным и потом просил разрешения их сфотографировать. Сотни раз рассказывал он чужакам, мужчинам и женщинам, ту капельку информации, что о ней знал. Снова и снова показывал ее фотографию и говорил: «Ее зовут Нина, один раз мы были вместе, и она исчезла. Может, вы ее видели?» Иногда он слушал самого себя, пока говорил, и думал, что он рассказывает им байку, которой никогда и не было.

И тем не менее эти случайные встречи куда-то его вывели. «Глаза раскрылись», – так он говорит в моем юношеском фильме, когда рассказывает о том периоде своей жизни. Он научился смотреть. Привлекали его в основном лица людей с трудной судьбой, людей с массивными, порой поистине царственными фигурами, «людей, по которым видно, как мелкость жизни, завладев ими, их размалывает». Вера с Тувией все пытались убедить его

покончить с бродяжничеством, пробудиться, постричься, записаться на учебу, взять на себя какую-то ответственную должность в кибуце. После почти двух лет скитаний он смирился с тем, что Нину ему не найти и что на самом деле он ее упустил, но перестать фотографировать он не смог и, более того, я думаю, а в общем-то знаю (кто, как не я?), что не смог отказаться от поиска: от навыка наблюдать, необходимого для человека, который ищет то, что потерял.

Тридцать два года спустя после их брачной ночи Вера стояла на кухне и кипятила чайник для чаепития. Тувия был уже очень болен. Вера не согласилась на его госпитализацию или на наем сиделки. Четыре года ночью и днем она оживляла его, подбадривала, вывозила на концерты в Хайфу и на спектакли в Тель-Авив, решала с ним кроссворды, меняла ему памперсы и читала вслух все три ежедневные газеты. Среди «поросли» ходило мнение, что из-за войны на истощение, которую ведет Вера, смерть взвешивает, не стоит ли ей от Тувии отказаться.

Чайник закипел, и она просвистела для Тувии в свисток первый куплет их песни: «Играй, играй же на мечтах...»[5 - Первые слова из песни «Я верю» - слова еврейского поэта Шауля (Саула) Черниховского.] Тувия медленно, кашляя, вошел - кожа да кости. Он пошел по коридору - тому коридору, по которому много лет назад побежал, когда Рафаэль, его сын, укусил Веру (прошу прощения, что я впихиваю это и сюда тоже, но человеку приятно иметь собственную маленькую мифологию). По пути Тувия ухватился за висящую на вешалке куртку, за спинку стула. Присел, вздохнул. Вера взглянула на него, и ее сердце сжалось. «Тувия! - громко крикнула она. - В пижаме? Так, по-твоему, приходят на файв о-клок к леди?» Тувия слабо улыбнулся, вернулся в комнату, натянул черные трикотажные брюки, голубую рубашку в полоску, подчеркивающую голубизну его глаз, и чтобы позабавить Веру, еще и замшевый пиджак, который надевал двадцать пять лет на праздничные мероприятия и который сейчас был велик ему на несколько размеров. «А так годится, май лэди?» - спросил он и, задохнувшись, сел на свой стул. Вера стала наливать ему чай. Оба молча смотрели на тонкую струйку, льющуюся из чайника. Потом Вера увидела, как закатываются глаза Тувии, как чернеют его губы, и закричала: «Тувия! Не оставляй меня!» И он свалился на пол мертвый.

Кажется, я уже говорила, что мы с папой у Веры, в кибуце - три дня после празднования ее девяностолетия, два дня до полета в Хорватию. Где Вера?

Почему ее не слышно? Услышим, еще и как! Вера, как и каждое утро, вышла проведать «своих старичков», которые, кстати, все до единого младше ее на несколько недобрых лет. Она посыплет их своим сварливым порошочком оптимизма («Я уже сказала Рафи: если придет день, когда я не смогу стоять на шоссе, на демонстрации Женщин в черном!» [6 - «Женщины в черном» - женское антивоенное движение. Первая группа была сформирована из израильских женщин в Иерусалиме в 1988 году, после начала Первой интифады.], мне четверти часа не выжить. Четверти часа!»); далее она, поджав губы и энергично размахивая руками, тридцать раз обойдет бассейн в своей плотно сидящей на голове розовой купальной шапочке. И потом помчится на своем электроскутере (лицо уткнулось в лобовое стекло, попа вверх - смертельная опасность для всех, кто осмелится в эти часы прогуливаться по кибуцу) к кладбищу.

Как и каждое утро, она возложит одну розу из своего садика на могилу Дуси, первой жены Тувии, и оттуда пойдет к могиле Тувии и возложит две розы, одну - ему и одну - Милошу, которого она приглашает из его могилы в сербской деревне сюда для реинкарнации.

Она сидит сгорбившись на краю могилы Тувии, раскачивается вперед-назад и рассказывает двум своим мужьям, что нового в семье и в Израиле, и горько жалуется на мир, который нехорош, «мир хочет уничтожить человечество. Часть уже уничтожил, а сейчас хочет уничтожить тех, кто остался». И горько жалуется на оккупацию: «Ох! Ведь только представить, что это произошло с нами, с евреями! Мы - трагедия трагедии!» И она тихонько плачет, и снимает тяжесть с души, и просит: «Милош и Тувия, дорогие мои мужья, где же вы? Мне уже за девяносто! Когда ж вы придете забрать меня к себе? Не забудьте здесь свою Веру!» А оттуда снова на электроскутере она мчится в свою маленькую клинику, что рядом с амбулаторией, и сидит там три часа, не поднимаясь со стула, и дает советы всем желающим по поводу диеты, и любви, и вен на ногах.

И тут совершенно случайно он, Рафаэль, ее увидел - на улице Яффо в Иерусалиме, возле здания «Дженерали», на автобусной остановке. Он быстро спрятался за рекламный щит, сфотографировал ее - как заходит в автобус, но следом за ней не пошел («побоялся, что устроит мне скандал»). На следующее утро в тот же час она снова была там в цветастом платке на голове, в больших, похожих на бабочку солнечных очках и в короткой облегающей зеленой юбке - умереть не встать (для тех, кто впервые ее видит). Но в глазах Рафаэля - одинокая и погасшая. Нина в то время работала в государственной химической

лаборатории возле Русского подворья. По восемь часов в день производила анализ пищевых красителей, проверяя, нет ли в них ядов.

(Когда я пишу эти строки, это звучит для меня так странно. Что у нее общего с этой работой?)

Среди прочих обязанностей в лаборатории она отвечала и за уборку, каждый день оставалась после того, как все работники разойдутся. То ли от скуки, то ли потому, что не спешила домой, к чужому и нелепому мужику, который ее там ждал, она начала раскрашивать пищевыми красителями тонкие стеклянные пластинки, на которых производились проверки. Рисовала улицу такой, как она выглядит сквозь решетку окна. Рисовала своего отца Милоша и его любимого коня, рисовала разные уголки их маленькой квартирки на улице Космайска в Белграде. Иногда она рисовала Рафаэля. Эти его красивые губы, которые ее целовали, эту мрачную топкую страстность его глаз, это его отчаянное преклонение, которое вселяло в нее ужас.

Каждый день в послеобеденные часы Рафаэль гонялся по улицам и переулкам, ведущим к ее автобусной остановке. Если везло, он открывал для себя еще какой-то маршрут, по которому она шла от работы до автобуса. После нескольких дней этих метаний по улицам он обнаружил ту самую лабораторию и пришел и встал перед ней, когда она мыла пол. Нина вскрикнула от ужаса, и тут же разразилась этим своим заливистым смехом, и оперлась руками о стол. Вблизи она показалась ему больной, малокровной, под глазами – черные круги. Говорят, что фантазии об избавлении – дело женское. Но в этих делах ничего нет женского, боль моя: голова повелевала немедленно испариться! Выздороветь от нее! Он подошел, и изо всех сил обнял ее, и услышал свой голос, который спрашивает ее, согласна ли она с ним жить.

Она осмотрела его своим медленным отстраненным взглядом. Прямо вижу, как она на долгие минуты погружает его в некую внутреннюю пустошь. Потом торжественно передает ему в руки резиновый скребок и говорит: «Но сперва тебе придется убить дракона». Он решил, что это какая-то шутка.

Но дракон был.

«Я удрала из кибуца, моталась по Израилю и отрывалась как могла. И в какой-то момент оказалась здесь, в Иерусалиме», – рассказывала Нина фотоаппарату моего папы, пленку которого несколько месяцев назад я нашла в его «архиве» – четыре фруктовых ящика из кибуца, в которых он хранит памятки того периода, когда снимал фильмы. Это эпизод на семь с половиной минут из незаконченного фильма 16-мм. В этом году я сделала оцифровку этой пленки. И может быть, я включу ее в фильм, который о них сделаю, если найду хороший материал во время нашей поездки на остров. Вот высказала это открытым текстом, и небо на землю не свалилось.

В клипе Нина юная и красивая и настроение тоже хорошее, по крайней мере в начале беседы. «...В Иерусалиме я встретила одного мужчину, корейца, ага, из Кореи, представь себе. – Зубки у Нины белые, мелкие, брови потрясно темные, почти прямые, легкая морщинка под глазами добавляет этакую иронию ко всему, что она говорит: – Он устроил меня на эту работу в лаборатории – знал там кого-то и по выходным брал меня работать на него. Он был такой странный человек...»

Вера как-то мне о нем рассказала. Это рассказ, который настолько ни к чему не относится, настолько темный и не схожий со всеми прочими «чужестями», что даже во мне вызывает какую-то боль. Он был биохимиком, имевшим у себя в стране частную лабораторию. «Жуткий человек, – сказала мне Вера, – который заставлял Нину раз в неделю сдавать кровь для его опытов». Но Вера знала не все.

Нина на ролике с наслаждением попыхивает сигареткой, что у нее в руке, и смеется несколько истерическим смехом: «Вообще-то парней я люблю высоких, красивых, типа Рафи, который сейчас меня снимает, эй, Рафаэль Аморэ. – Она дарит ему поцелуй. – А тот был низенький, уродец и с огромными ушами. Ладно, рассказываю... Он родился в Японии и был из бедной семьи и вдобавок ко всем несчастьям еще и из корейских меньшинств...»

Лицо ее понемногу становится все жестче. Я замечаю в нем мелкие изменения, которые, как видно, очень для меня существенны. С этого момента она начинает говорить быстро, холодным и плоским голосом: «Когда в Японию приехали мормоны, они тут же стали выуживать самых бедных детей, и его родители обрадовались, что есть кто-то, кто позаботится об их ребенке, и послали его учиться в Америку. И так вот он стал американским мормоном...»

В Нине будто заговорило что-то совершенно чужое. Даже курить она стала быстро и нервно, почти автоматически. Моя реакция, когда я увидела эту первую сцену: что за чепуха? Кого это интересует? Что она плетет про этого своего корморанта?

«И тут он влюбился в еврейскую девушку, она уже мертва, не суть... и по ее следам приехал в Иерусалим, и так вот встретил меня, когда я искала место, где бы переночевать, и он посылал меня спать с иностранными мужиками, возвращаться и рассказывать, как все было».

Если еще осталась последняя тень доказательства, бросающего тень на мои дочерние качества, так это то, что даже сегодня, в моем возрасте, я готова молиться о смерти, когда она заводит разговор про свою сексуальную жизнь. «Это то, что ему нравилось, и чем все безумней и странней, тем лучше. И всегда он хотел знать подробности, чтобы я обратила внимание на каждую деталь». – «Клево, – мысленно отвечаю ей я, – ты запросто можешь стать помощницей режиссера по сценарию. Может, я унаследовала это от тебя». Я пытаюсь угадать, где, в каком месте снимал он ее для этого ролика. На фоне видны сосны, местность гористая. Роща в горах возле Иерусалима? Над Эйн-Керемом? В Сатафе?

«И что я чувствовала? – Она смеется этим своим смехом, долгим, равнодушным. – Ты, Рафи, не спрашиваешь? Конечно же, не спрашиваешь. Ты ведь всегда побаиваешься моих ответов, правда ведь?»

«Ну и как... Как это тебе?» Даже голос у Рафи сухой и плоский. Его фотоаппарат весь на нее направлен. На ее лицо, на глаза, на ее красивый рот.

«Как выпить воды из бумажного стаканчика и стаканчик выбросить».

Молчание. Нина нетерпеливо передергивает плечами, мол, хватит, кончай.

«И... Сколько же все продолжалось с этим корейцем?»

«Два года».

«Ты два года выбрасывала бумажные стаканчики?»

«Два-три раза в неделю».

«Расскажи».

«А чего там рассказывать! Встаю, выхожу на улицу, ловлю человека, мужчину, иногда женщину, делаю дело, возвращаюсь рассказывать».

Рафи тихо, длинно выдохнул. Когда этот ролик снимался, он еще не знал, что она приготовит ему в будущем.

«В конце концов ты меня нашел, Рафи. Про это вы уже знаете». Нина переводит взгляд на камеру, вдруг лучится всей своей красотой, ранит нам душу. Для нее все – игра. «Артистка жизни». Вдруг подступает тошнота от этого забытого словосочетания, которое в отрочестве вызывало во мне ужас, хотя всего его значения я и не понимала. Эту фразу я в те дни нашла в своей секретной библии «Тайны брака» (в совокупности с «Теорией спаривания»; издательство народное). Мне было одиннадцать, когда я обнаружила это в библиотеке Веры и Тувии, и в течение двух-трех лет я совала в них нос каждую минуту, когда оказывалась у них одна. Даже названия глав потрясали меня. «Цель эротики для человека»; «Новейшая информация по сексологии для пар, состоящих в браке». Я лихорадочно это читала, зубрила наизусть. «В качестве прелюдии к выбору партнера женщина использует готовность к любви – физиологическое состояние, при котором организм испытывает такое умственное и физиологическое возбуждение, что жаждет взрыва». Я не поняла. Но мой организм дрожал от нового возбуждения и требовал взрыва. Я читала и перечитывала. Иврит странный, библейский. «Женщина – она более не инструмент для релаксации, а хрупкий сосуд, который несет в себе вино духовности, и для мужчины она как магнитная игла для компаса, что помогает кораблю приплыть в гавань, и будучи сосудом более хрупким, она нуждается в защите усиленной...» Я ходила по улицам Иерусалима или по тропам кибуца и выбирала себе людей красивых, но и некрасивых, мужчин, которые выглядели предводителями, и женщин, которые без сомнения несли в себе вино духовности. Я заглядывала им глубоко в глаза и принуждала их, пусть сами они и не догадывались, продекламировать мне избранные строки из этой библии. «Довольно, чтобы явилось существо противоположного пола, наделенное физическими и духовными качествами, соответствующими условиям определенного человека и его мечтам, и вот вам родилась любовь».

Как я уже писала, я была двенадцатилетней девочкой, может, чуть старше, когда мы представились друг другу, я и мой гид по брачным джунглям. И я не рассказывала об этом никому, продвигалась от одной точки к другой, расшифровывала слово за словом, иногда с помощью словаря, и научилась выражаться по книге, но лишь под одеялом – любила, например, открыть ее наугад, пальцем ткнуть в строку из текста и чувствовать себя так, будто мне послано предсказание. И помнится, как раз, когда я прочла: «Существуют люди с ложной эффективностью. Люди, которые очень бедны на эмоции, но играют роль эффективных. Те, которых называют «артистами жизни». Эти люди чрезвычайно редко способны на длительные супружеские отношения».

Мне захотелось умереть. Почему именно мне это выпало, что такая женщина...

«Хэлло, Рафи, любовь моя! – восклицает Нина в ролике, иврит у нее превосходный, без тени акцента, так она говорит на пяти или шести языках, она, эта артистка жизни. – Ты искал меня по всему Израилю, пока не нашел и не привел домой, и не избил его до полусмерти, чуть не убил дракона. Знайте, дорогие зрители, Рафи всегда мечтал спасти принцесс от драконов. И с тех пор мы вместе и не вместе, и тем временем у нас родилась бедняжка Гили, и теперь мы запутались еще больше, и Рафи снимает про нас фильм», и она машет Рафаэлю рукой.

Я прокручиваю ролик назад. Она и на самом деле в сотый раз все это произносит.

Камера неподвижно уставлена на нее, будто давая ей шанс извиниться, сказать, что все это вранье. Но Нина уже давно стерла всякую мимику со своего лица. Ее нет. Она отсутствует. Но где же она есть, когда ее нет?

А тем временем родилась бедняжка Гили.

Рафаэль в ролике, как и в жизни, не в силах от нее излечиться. Он спрашивает ее, испытывала ли она за все это время какое-то живое чувство по отношению к кому-то. Она довольно долго не может вернуться к тому месту, которое уже стерто. «Да вот было разок... Я ходила в Старый город, он часто посылал меня там покрутиться. Ему нравилось, когда у меня случалось всякое-разное с арабами. Это его распяляло еще больше. И вдруг слышу сербский, настоящий сербский, с таким выговором, как в деревне у папы, у Милоша. Это были три

матроса, которые прибыли на корабле в Хайфу, и один из них такой клевый. Я прошла мимо него и бросила ему так, по-английски, как в фильме: «Привет, котик, come on, lose the others», и привела его домой, и он просто не верил, что такое с ним происходит, что девушка, которая совсем неплохо выглядит и говорит по-сербски с его выговором, приводит его к себе домой, дарит ему гуд тайм, да еще потом провожает его на автобус. С этим парнем я что-то такое почувствовала».

Молчание.

«Да, это неприятно», – говорит она, и лицо как-то вдруг осунулось.

Камера направлена на нее.

«Что со мной не так, Рафи?»

Рафи не отвечает.

На этом ролик кончается.

Я прокручиваю его снова.

Они жили вместе в квартирке в полторы комнаты, на третьем этаже в квартале Кирьят Йовель в Иерусалиме. Нина работала в химической лаборатории, а Рафаэль работал где придется. Он любил ее всяко, когда она его подпускала и когда отвергала. Может, и она любила его – это меня вообще не занимает, что там она к нему испытывала. Есть такие зоны, которые, когда в них залезешь, тут же тянет наложить на себя руки, и в общем-то зачем мне... Но мимика лица к ней не вернулась. Наоборот. Ее красивое лицо стало еще более бездушным. Он подозревал, что она специально стирает с него всякое выражение каждый раз, как он смотрит на нее своими любящими глазами. «Будто за что-то меня наказывает», – изумленно говорит он в мою камеру «Сони», и интервьюерша, молодая специалистка по таинствам брака в совокупности с теорией спаривания, тактично молчит.

«И раз за разом, – рассказывал Рафаэль, – Нина возвращалась ко мне после своих блужданий «грязная, вонючая, униженная». Он говорил тихо: «Иногда просто

исполосованная, в порезах, в черных кровоподтеках и синяках». При виде его взгляда сразу, бывало, вспыхнет и на него накинется, и не раз случалось, что примется его дубасить, а он обороняется, пытается схватить ее за руки, чтобы утихомирить, но она ловчей его и неумейней. И тогда наступал момент, когда его прорывало, и он начинал колотить ее в отместку, рассказывал Рафаэль молодой и напуганной интервьюерше, которая, как ни напрягала воображение, не могла себе подобное представить. «Но ты ведь ее любил? – спросила интервьюерша задуманным голосом. – Как ты мог ее бить, если любил?» – «Не знаю, Гили, не знаю. Все вместе...» И он раздвинул пальцами верхнюю губу и показал смущенной камере полость рта и пустоту на месте двух коренных зубов: «Два этих зуба я потерял в наших войнах». Молчание. Камера уставлена на него, но драма сейчас у операторши. Потому что вдруг, с сегодняшней точки зрения, ей до боли понятно, что девчонка, та, какой она была, когда все это снимала, сейчас, на наших глазах, расплывается за свой великий обман: за притворство, что она взрослая.

Кстати, на этой жутко выцветшей и зернистой пленке видно, что и Рафаэль не в своей тарелке. Он без конца ерзает на стуле и ни разу на меня не взглянет. Явно чувствует, что пора бы эту беседу кончать. Что ей не место. Что душевный инструмент той девочки, которой я тогда была, не способен вместить в себя все, что он в нее впахивает. Что это почти преступление. Но ему никак не остановиться. Ему не остановиться.

Когда я снимала его на свою первую пленку, он все же уберег меня от сцен их интима или, во всяком случае, свел их до минимума. Хотя и тут он не усек – и как это он не усек! – что описания их разборок терзали меня гораздо сильнее, мучили меня, как надо.

Оба мы сегодня люди взрослые. Мы сидим в Веринной комнате в кибуце, только он да я, и смотрим – какое отличное слово... – беседу, которую засняли здесь, в этой комнате, двадцать четыре года назад.

И никогда я ничего не делала с этой пленкой.

Мы оба, и Рафаэль, и я, ничего с ней не сделали. Быстренько запихнули ее на антресоли и забыли.

«Я так жалею, – говорит сейчас Рафаэль, а лицо измученное, – что был таким идиотом!» А я говорю: «Ага», – и хочется заплакать по себе, и я не плачу, никогда не плачу, и оба мы молчим.

Что тут скажешь, когда делать нечего.

Вначале, когда у них с Ниной бывали мирные минуты, почти всегда с помощью марихуаны и галлонов коньяка «Экстра Файн», он еще смел надеяться – и, конечно же, ей об этом не говорил, потому что как такое скажешь... – что, если у них родится ребенок, к ней, без сомнения, вернется и мимика лица. Но и когда Нина родила девочку весом в два с четвертью килограмма – крошечную малышку, почти недоноска, которая выглядела так, будто хочет только одного – испаряться, съеживаться и скукоживаться, пока полностью не исчезнет... даже и тогда она не вернулась, эта пропавшая Нинина мимика. А может, как раз наоборот, ее глаза выглядели еще более пустыми и смотрели всегда сквозь тебя, и казалось, что они почти не моргают, что в какой-то далекий миг они будто застыли на чем-то, что она вдруг увидела или осознала. Таково было лицо, которое малышка видела перед собой, когда ее взгляд стал концентрироваться и останавливаться на предметах. Таковы были глаза, которые смотрели на нее, когда происходило кормление молоком (в течение трех дней, а может, четырех, тут какой-то туман, один раз Рафи сказал, что трех, а в другой – что четырех), и когда ей меняли пеленку, и когда она старалась осторожно и, видимо, без особой надежды проверить влияние собственной улыбочки на возникшее перед ней лицо, и, может быть, поэтому еще и сегодня эта ее улыбка слегка сникает и заранее отступает назад.

И это все? Никаких воспоминаний? Даже плохих? Никаких минуток баловства, объятий в родительской кровати? Никаких мокрых поцелуйчиков в животик малышки? А что насчет восторгов по поводу первого шажка, первых слов? Где лампочка? Скажи «вода».

Толстая стирательная резинка снова и снова проходится по сознанию.

А Нина исчезла. В одно прекрасное утро мы встали, а ее нет. Наверняка услышала, как свистнули в окно. На частоте, которую только суки вроде нее способны услышать. Даже зубной щетки не прихватила. Ушла и исчезла на годы. Улетела – так выяснилось потом из писем, которые она стала посылать Вере, – в Нью-Йорк, и тот ее проглотил. И никто ее больше не искал. Внезапно Рафаэль и маленькая девчушка остались одни. Бабушка Вера, конечно, ездила к ним по

крайней мере два раза в неделю, тремя автобусами в один конец, привозила корзины с кастрюлями, картинки для раскраски, деревянных зверюшек, которых Тувия вырезал. В другие утра девочку вместе с еще несколькими детьми помладше отводили в ясли, устроенные в квартире соседки, женщины, которая почти не разговаривала, и ее молчание, видимо, прилепилось и к детям, потому что ясли вспоминаются ей как место очень тихое (малость дико, но так ей это помнится). Преданные подруги Рафаэля приходили посидеть с ней по ночам, когда Рафаэль на работе. Он работал санитаром в больнице «Бикур-Холим», сторожем в Иерусалимском библейском зоопарке, заправщиком на бензоколонке. По утрам учился на социального работника в Иерусалимском университете и на кинематографиста на курсах от Министерства труда. Девочка непрерывно его дожидалась. С того времени ожидание – самое заезженное чувство, которое в ней сидит. Непрерывный голод. Ей не удастся вспомнить, что она делала, пока его дожидалась. Но даже сегодня она может пробудить в себе чувство этого ожидания, вспомнить, как сжималось все в животе в предвкушении его тяжелых шагов по лестнице. Прошу прощения за третье лицо, которое я вдруг здесь употребила, описывать все в первом лице слишком больно.

Вера умоляла, чтобы они переехали к ней и к Тувии в кибуц, их там ждет новая жизнь. Все, что Нина у них отняла, Вера им возместит. Но Рафаэль, а по-своему, может быть, и девочка – кто знает, кто знает, что нашептывал мир ее животным инстинктам... они будто обязаны были до конца испытать заброшенность, на которую их обрекла Нина.

И все-таки, и все-таки, что ж ей помнится из этого времени? Да мало чего. Почти ноль. Молчаливые трапезы. Рафаэль, который стоит перед платяным шкафом и полощет лицо в Нининых тряпках. Настоящий длинноухий щенок, которого Рафаэль нашел и принес ей. И который после недели неумного счастья сбежал из дома, когда кто-то по ошибке оставил дверь открытой. Или серый послеобеденный час в скверике в Кирьят Йовеле. Молодая мамаша обращается к Рафаэлю и говорит ему, что для такой погоды девочка слишком легко одета, и они оба, она и Рафаэль, не сказав в ответ ни слова, встают и уходят.

Была, например, жизнь, что проходила под одеялом. Долгие часы, половины дней она лежала под одеялом, и рассказывала истории, и показывала представления. Говорила она там не на иврите. Язык был другой. Язык, который существовал только под одеялом, и она, видимо, не помнила из него ни единого слова, когда выходила туда, где не-под-одеялом. Но одним вечером с нее вдруг

сдернули одеяло, и там стоял взволнованный папа, и он сказал ей, что она разговаривала на сербскохорватском, произносила целые фразы. Он этого языка не знал, кроме нескольких слов, которым его научила Нина (папа, мама, девочка, семья и несколько ругательств). Девчушка, разумеется, не понимала, о чем он говорит.

«Но ты вспомни, что нам было и очень классно вместе, – говорит Рафаэль в фильме почти умоляющим голосом. – Я устраивал тебе театр теней, и у нас была целая семейка, которую мы вырезали из картошки, и компания спичек и пробок от пивных бутылок, и мы играли в настольный футбол с гвоздями-игроками и с мрамлом в качестве мяча, и мы пересмотрели кучу фильмов, помнишь?» Он нагибается ко мне, внезапно вырывает у меня из рук камеру и направляет ее на меня, и пожалуйста: мы видим меня на пленке, как я кричу и протестую, и пытаюсь стереть себя истерическими движениями рук. «Перестань сходить с ума и взгляни, какая ты хорошенькая», – говорит Рафаэль-что-на-пленке и смеется, и я там вроде тоже смеюсь следом за ним: «Вы с Ниной такие красивые, как у вас получился такой брачок?» И Рафаэль-что-на-пленке смеется еще пуще: «Ты и правда чумная, Гили, ей-богу!» И это недостаточно исчерпывающий ответ по поводу того, что отравляло мне жизнь в те годы – я увидела гримасу, которую скривила на пленке, – и это было еще мгновение, когда я ненавидела Нину всей душой, потому что по мне видно то, чего мне недостает, некая «обезвоженность», ибо так оно и есть: как бы я ни обожала своего отца и как бы «Тайны брака» ни прыгали блохами в моем мозгу, пятнадцатилетняя девушка иногда нуждается в маме, даже в маме-кукушке, даже и в греховной, но в маме, которая хоть раз в какое-то время посмотрит на нее как женщина на женщину, которая обнимет ее бестолковое тело, которая скажет ей растроганно: «Ну до чего же ты женщина».

Именно на этом показ прерывается. Как раз тогда, когда моя физиономия заполняет весь экран. Магнитная эмульсия, видимо, отслоилась, замелькали черные и белые пятна, и мое лицо мгновенно покрылось кривыми полосами и застыло. И что-то вдруг напомнило мне зеркало, которое разбилось после того, как в него посмотрелась Нина, и это так осязаемо и страшно, что мы оба несколько секунд сидим и глядим в оцепенении, пока Рафи не встает и не отключает проектор от электричества.

Помнится, в диске проектора «Болекс» было 400 футов пленки, первая 16-мм пленка – папина. 11 минут и 11 секунд поджидали нас там, чтобы мы заполнили

их приятными картинками. По сей день в моих пальцах – память о движениях рук при вставке и извлечении пленки. Мне было, наверно, лет семь, руки мои и папины вместе двигались в черном, защищенном от света рукаве. Этот рукав был рассчитан на одну пару рук, но нам удавалось протиснуться вместе. Он учил меня, направлял мои тонкие пальчики. При загрузке, а также при открытии кассеты он закрывал глаза и запрокидывал голову назад, и я в подражание ему тоже так делала. В рукаве мы вместе с закрытыми глазами открывали крышку фотоаппарата, очень осторожно ухватывали кончик новой пленки и продевали ее через ролики. Его толстые пальцы двигались быстро и осторожно. Сегодня с видео и цифровыми технологиями все это кажется смешным, но я с нежностью вспоминаю наши движения. А также ощущение времени того периода. Те 11 минут и 11 секунд, что проскакивают между роликами.

Где я была?

С пяти лет девочка дышала химикатами. Привыкла спать на матрасах в монтажной. Ее отец был, по-видимому, помощником какого-то очень важного человека. У этого важного человека были кошачьи глаза, и он, бывало, смешил девочку, строя ей гримасы. Но больше всего он сидел, склонившись над монтажным столом «Стейнбек», резал ленты и, склеивая их липкой бумагой, что-то себе напевал. Комната все больше наполнялась занавесками из лент. Она, бывало, ходит среди них с широко раскинутыми руками, шелестит лентами.

Рафаэль ездил с ней смотреть фильмы в «Бейт-Лесине»[7 - Бейт-Лесин – театр в Тель-Авиве.] или в доме Лии ван Лир[8 - Лия ван Лир (урожденная Лия Семеновна Гринберг (1924–2015) – основательница и директор Иерусалимского международного кинофестиваля.], что на Кармеле в Хайфе. Он подбирал (из мусорных ящиков продюсеров) фильмы, права на показ которых истекли. Таскал фильмы из кинобиблиотеки Гистадрута[9 - Гистадрут – профсоюз Израиля.]. Он обучал себя: неделя Антониони, неделя Говарда Хоукса, Фрэнка Капры, Джин Уа?йлдер, Трюфо... Она спала на нем, положив голову ему на плечо. Просыпалась в темноте. В чужих комнатах, видела два отражения фильма в стеклах его очков.

В семь лет, посреди учебного года, девочку привели в школу имени Гершона Агрона и представили перед классом как «девочку, которой следует помогать». С другой стороны, почти в тот же день, что ей открылось письмо, обнаружилось и чудо чтения, и началась новая жизнь.

Ну, хватит. Сегодня утром я много работала. Давно уже столько не писала, да еще от руки. Ладно, еще один коротенький анекдот, и потом мы с Рейшем идем на вечеринку в частную столовую, где встретимся с теми, кто знал меня еще в коляске и кто очень тактично не станет морочить меня вопросами про меня.

Когда девочке исполнилось одиннадцать, и она ко всеобщему изумлению и к собственному горю вытянулась до метра шестидесяти – почти недоносок вырос в красивую девочку, – и уже писала тайком экзальтированные стихи и трогательные рассказы о сиротстве, а также перечитала почти все книги для взрослых из библиотеки кибуца и из библиотеки «Фелипе Леон», что в Общественном центре Кирьят Йовеля, и вызубрила «Тайны брака» и «Сад благоуханный»[10 - «Сад благоуханный» – Шейха Нефзауи. Изд-во «Геликон», 2010.], который тоже был найден в библиотеке бабушки Веры и дедушки Тувии (книга, от которой она тоже не могла оторваться, но по-другому), так вот в одно прекрасное утро, когда она перед всей школой стояла на поминальном церемониале Йом а-Зикарон[11 - Йом а-Зикарон – День памяти павших в войнах Израиля и жертв террора.] и должна была продекламировать стихи Хаима Гури[12 - Хаим Гури (1923–2018) – израильский прозаик и поэт, переводчик, журналист, кинорежиссер.] «Вот лежат наши тела», она вместо этого прочитала собственный стих-плач, до смерти конфузный, начинающийся словами: «Куда ж улетают улыбки, гримасы с тех лиц, что застыли навек?»

Нина приехала в кибуц вечером, накануне празднования девяностолетия. Потребовались три пересадки на самолетах, чтобы доставить ее в кибуц из арктической деревни, – Рафаэль, разумеется, оплатил полет деньгами, которых у него нет, да и Вера внесла свою лепту, у Нины, как всегда, за душой – ни гроша. Несмотря на усталость, она отличилась – так доложили мне люди, и допоздна вкалывала в клубе для членов кибуца, работала по подготовке к торжеству, и только за полночь, после того, что уже не в силах была в одиночку намыть и надраить полы клуба, она вызвала такси в Хайфу. Она предпочла не ночевать ни у Веры в кибуце, ни в Акко у Рафаэля, решила, что и без того ему насолила, до смерти его разозлила, ну а о том, чтобы остановиться в мошаве[13 - Мошав – вид сельских населенных пунктов в Израиле.], в нашей с Меиром съемной квартирке из полутора комнат, конечно, не могло быть и речи. Нина нашла квартирку в квартале Неве-Шаанан, которую сняла через Airbnb на три дня. На большее в ее затерянной епархии средств не было. Из аэропорта в городе Тромсё, что в Норвегии, она позвонила Рафаэлю и пообещала, что напишет Вере поздравление и прочтет его на торжестве. Но утром она уже два раза к нему подошла и шепотом спросила, мол, ничего, что она не написала, и Рафаэль ответил что-то типа: главное, чтобы было от всего сердца, чтобы ты

сказала что-то, ей приятное. Нина сказала, конечно, что постарается, поговорит с ней, просто посмотрит на Веру, а затем к ней обратится. «Все-таки мне так много хорошего нужно ей сказать», – сказала Нина и энергично кивнула головой. Но всякий раз, как тетя Хана, проводившая этот праздник, обращалась к ней с немым вопросом, Нина отмахивалась, мол, «потом» или «я – после этой речи», и в конце концов не выступила, не сказала Вере ни слова.

Чем дольше длилось ее молчание, тем заметнее проступало разочарование на Верином лице... И все мы чувствовали, как сильно Нина мучается, но не может, просто не в состоянии произнести в адрес Веры какие-то похвалы. В эти минуты вся семья прыгала вокруг Веры, как тело, которое защищает свой уязвимый орган. Она была своя, а Нина – нет. Нину мы готовы были принять только из-за Веры. И кое-что еще: семья всегда знала, что линия раздела между Верой и Ниной – шрам воспаленный, даже злокачественный, и лучше нам, Брукам, к нему не притрагиваться. «Да и все равно, – думает себе рядовой, отсиживающийся в сторонке Брук, – где мне понять, в какие передряги они когда-то вляпались. Почти шестьдесят лет с тех пор кануло, как знать, что там у Веры с Ниной случилось?» И тут же решит: «Бруки в принципе не признают таких вот ковыряний в человеческой психике... да и ладно, семью не выбирают».

Что еще я хотела написать?

Что это наслаждение, как в этой тетрадке все бежит, все сюда влезает.

Я годами не писала ручкой. Считала, что эти мышцы у меня давным-давно увяли.

Итак, с тетрадкой, с пером – по остывшим следам, к далеким уже временам.

Ну, вперед, до боли в запястье!

Мы на праздновании девяностолетия. В клубе для членов кибуца. Мебель – катастрофа. Все выглядит так, будто затерто до дыр еще где-то в пятидесятые годы. Рафаэль с Ниной не виделись пять лет, с момента ее последнего приезда в Израиль. Мы с Ниной тоже не виделись пять лет. Да и тогда едва обменялись несколькими фразами. И в заключение я ей устроила сцену на глазах всех окружающих. Я выдала там настоящее шоу ужасов, и все вокруг меня презирали. Слову «семья» мы, безусловно, придали совершенно новое

значение.

В субботу, перед началом празднования, когда все, еще стоя, трепались и штопали дыры в семейных сплетнях, я зажмурила глаза, стала медленно считать от десяти до нуля, и на нуле она вошла. Не могу объяснить это явление. Нина вошла в этот маленький зал, и у Рафаэля упало сердце. Я это видела. И тут же вокруг нее завихрился этакий смерч из поцелуев и объятий, в центре которого Нина просто стояла, обхватив себя руками, будто даже и тут замерзла, и тихо улыбалась, пока наша семейка наслаждалась поводом почувствовать себя капельку за границей, повыкрикивать «о-май-год!» и прочие американизмы, изображающие растроганность и пованивающие лицемерием, и под всем под этим быстро пробежаться взглядом на предмет морщин и кожи, и волос, и зубов. Обычный спектакль. Я увидела сразу, да это и все увидели, что Нина не в лучшей форме. Не только что поблекла ее красота – в этом нас, дурнушек, судьба пощадила – и не только, что ее лоб и ее потрясающие щеки и все вокруг губ покрылось бороздками, тонкими морщинками, такими сухими, будто кто-то отхлестал ее связкой крошечных веток. Но что по-настоящему потрясло Рафаэля – так он сказал мне взглядом – это что на Нинином лице вдруг появилась мимика.

Я тоже это заметила. Роль скрипт-супервайзера (английский термин «Script Supervisor» – «девушка, следящая за последовательностью», мне нравится) заключается в том, чтобы подмечать такие нелепые скачки, нелогичные нестыковки при обозначении сцен или в тексте. Я взглянула на Нину, и внутри что-то вскрикнуло. Рафаэль уже вскочил и был как не в себе. Я поспешила к нему, взяла за руку и почувствовала, что он опирается на меня и что пульс его скачет как бешеный. У меня в кармане были аспирин и «Изокет» – спрей от стенокардии, я для него всегда их держу при себе. И я ему их предложила. Он отмахнулся от них жестом пренебрежительным и малость обидным для меня. Но тут были смягчающие обстоятельства.

Ну как ты опишешь такой феномен – у человека не было никакой мимики и вдруг она появилась? Конечно, какой-то намек на мимику и раньше у нее, у Нины, возникал. Честно говоря... она не была ни статуей, ни ледником, ни неким сфинксом, и я так ее изображаю просто для того, чтобы еще усилить и распалить в себе к ней неприязнь, и Рафи утверждает, что тут я сильно преувеличиваю. И все же сейчас она каким-то непонятным образом действительно стала другой, и... можно сказать это с осторожностью и признать с великой натугой, что она вдруг и правда возникла.

Тот мальчик, которого украли компрачикосы?[14 - В романе «Человек, который смеется» мальчика крадут компрачикосы – термин, которым Гюго окрестил преступное сообщество торговцев детьми.] Мальчик из книги Виктора Гюго «Человек, который смеется» – компрачикосы изуродовали ему лицо, чтобы он выглядел так, будто все время смеется, это, мол, помогает для сбора денег. Как я боялась в детстве этой книги, этой застывшей гримасы мальчика, нарисованного на обложке, сколько раз читала про его сударыню-судьбу и рыдала!..

Но вот вам вопрос, на который у «Гугла» нет ответа: что заставляет обычного, нормативного человека, никакими компрачикосами в детстве не изуродованного, почти всегда выглядеть безучастным или равнодушным? Или нелепым? Может быть, что-то с глазами? Тонкие складочки, которые у нее под веками? Взгляд отстраненный, пустой и всегда немного рассеянный?

Из того хрупкого жеребенка, какого она напоминала до довольно позднего возраста, до той встречи пять лет назад, когда я видела ее в последний раз, она сразу перепрыгнула в начало увядания, будто и не побывав в пору женского цветения, женской зрелости.

Никогда.

Ее лицо завораживает моего отца и меня тоже, будто нам показывают какой-то фильм, еще один фильм, провалявшийся где-то десятки лет. Фильм о нашей жизни, которую мы не прожили. О жизни, которая могла бы у нас быть. Нежность и радость, разочарование и печаль, сменяя друг друга, пробегают по ее лицу, и улыбка, о боже, у нее теплая и простая улыбка, где все это было, когда мне это было так нужно? Рафаэль, стоящий рядом, глядит на нее, и у него бешеный пульс и ускоренное дыхание – вроде я об этом уже говорила... и клянусь, что не дам ему из-за нее упасть, хватит, есть предел издевкам над человеком.

Нина заметила шок в глазах Рафаэля, как только вошла в зал. Скрыть его он не мог. Через головы всех, кто столпился вокруг нее, она, как бы извиняясь, пожала в его сторону плечами, и что-то в этом жесте напомнило мне кадр из фильма, который Рафаэль пытался о ней заснять когда-то в семидесятые, перед тем, как она навсегда от нас сбежала. «Ты считаешь, что продолжишь меня любить, даже когда я буду старой и уродкой?» – спрашивает она его там. Они в постели, а как иначе! На неопрятных простынях, в редкую минуту нежности. «Ты же знаешь,

что я за человек, – говорит он ей и слегка раздувается от радостного пафоса. – Если ты вдруг станешь, ну, скажем, горбатой, я тут же полюблю горбуний». – «Да ну тебя! – машет она своей тонкой обнаженной рукой. – Наверняка ты это врал тысяче «горбушек»!»»

Потом, после всех произнесенных речей и после Нининой произнесенной, и после моего с Ниной несостоявшегося разговора, наше маленькое племя, которое уже вовсе не такое и маленькое, расселось за ломящиеся от еды столы.

Женщины семейства, а также некоторые мужчины, вдохновленные Вериной кухней, настряпали кучу деликатесов. И только мы вчетвером – Вера и Нина, Рафаэль и я – продолжили сидеть каждый на своем месте, немного побитые еще до того, как по-настоящему встретились. Нина с Верой смотрели друг на друга, и это был взгляд...

На Нинины губы вдруг напозла жуткая улыбка. Мне было ясно, что улыбка эта почти произвольная, типа судороги, которую Вера вызывает в Нине самим фактом своего существования, улыбка, как у черепа, в мгновение ока высмеявшая и опровергшая всю лесть и комплименты, которые сыпались на Веру, будто обнажили какой-то скрытый позор.

Я испугалась, меня вдруг пронзил страх, какой мы испытываем, когда вдруг оказываемся свидетелями какой-то черноты в человеке. И я знала, что для такой Нининой улыбки нет перевода ни на какой язык, на котором говорят при свете дня. Я увидела, как моя бабушка вся скукожилась, будто Нинина улыбка иссушила все соки, которые делают Веру такой, какова она есть даже и в ее девяносто лет.

Но тут и сама Нина увидела, что она сотворила со скорлупкой-Верой, и вздрогнула. Встала со стула и неуверенным шагом пошла к ней...

И она опустилась на колени перед Вериним креслом, движением странным, но трогательным – признаюсь, это сдавило меня какой-то неожиданностью, – и она заключила Веру в свои объятия и положила голову ей на колени, а та склонилась к ней и стала гладить тонкую, хрупкую шею своей дочери.

Движениями долгими и медленными.

Некоторые члены семьи это заметили и дали знак остальным, и все смолкло.

Вера с Ниной будто сплелись друг с другом. И я подумала, что до конца своих дней эти две женщины будут обведены чертой, которая отделит их от всех остальных. От целого света.

Я подумала, что и я, хочу я того или нет, немного отгорожена ею, этой чертой.

Нина встала, я увидела, что вставать ей трудно. Ее тело утратило ту юношескую гибкость, которая в нем была. Она вытерла глаза обеими руками. «Уф! Не знаю, что вдруг...». Вернулась и села на свой стул. Вера вынула из сумочки круглое зеркальце, быстро стерла салфеткой макияж, который размазался в уголках глаз, и подвигала перед зеркалом своими на помаженными губами. Нина смотрела на нее, ела ее глазами, и я на минуту себе представила, что точно так же она смотрела на нее, когда была шестилетней девочкой в Белграде, в их красивой квартирке на улице Космайска, смотрела на свою маму, которая красилась перед... ну, скажем, овальным зеркалом в бронзовой оправе, украшенной виноградными гроздьями, зеркалом, которое обнимало ее фигуру; и возможно, к оправе этого зеркала была прикреплена маленькая фотография Милоша, светловолосого и серьезного.

Эстер, папина сестра, которая не в состоянии вытерпеть ни малейшей проволоочки или сбоя в разговорах, постучала чайной ложечкой по стакану и объявила, что ее внучки Орли и Адили приготовили маленькую сценку по «двум-трем забавным историям», которые Вера им рассказала, когда они готовили школьный проект о своих корнях. Нина напряглась, видимо, не видела ничего особо забавного в маминых воспоминаниях. Две девчонки с черными кудрями, румяными щеками и кучей энергии сказали, до чего же им повезло, что бабушка Вера избрала стать бабушкой именно в их семье, и как своей мудростью и своей великой сердечностью она возвратила всем им радость жизни после того, как умерла бабушка Дуси, дорогая первая жена дедушки Тувии. Они говорили вместе, произнося текст одна за другой, но так слаженно и приятно, как только здоровая семья – браво за оксюморон, Гили! – способна произносить.

Они попросили у Веры прощения за то, что, может, ей подражая, слегка выйдут за рамки. «Все это от любви», – сказали они, и она махнула рукой и сказала: «Go ahead!» – и девчонки дали знак Авиатару, своему двоюродному брату, и песня

Синатры «I did it my way» наполнила воздух розовой ватой. Из-под одного из столов девчонки вытащили чемодан, и тут у скрипт-супервайзерши екнуло сердце, потому что это был тот, тот самый чемодан, с которым Вера пришла к Тувии в тот вечер, когда они с Рафаэлем метали железные ядра; и из чемодана они начали вытаскивать разноцветные нитки бус, длинные и короткие, и надевать их на шею, и под звуки песни стали раскачиваться, производя ритмические, если не сказать, эротические телодвижения – по-моему, это было малость конфузно, – и, подобно цветным ниткам фокусника, девчонки стали вытаскивать из чемодана шляпы, синие и фиолетовые, Вериных расцветок, шляпки маленькие и широкополые, обыкновенные и экстравагантные, европейские и тропические, местные и колониальные. Я с полной уверенностью могу утверждать, что не было ни одной другой кибуцницы или работницы в кибуцном движении, которая бы, подобно Вере, могла совмещать изнурительную работу в коровниках, курятниках и в поле с врожденной и естественной элегантностью.

Еще одна история: в те дни, когда она переехала к Тувии, бывшему до этого завидным вдовцом, на которого имели виды многие дамы из кибуца, местные начальницы неделю за неделей гоняли Веру по всяким работам типа уборки столовой и мытья в ней полов в промежутке между трапезами. В конце рабочего дня она, бывало, возвращается к Тувии и показывает ему свои потрескавшиеся и вздувшиеся от моющих средств пальцы и свои грязные, поломанные ногти. А Тувия полощет ее руки в теплой воде с ромашкой и потом красит ей ногти лаком – Вера, передразнивая его, высовывала язык, зажатый между губами, – «Выше голову, Веруля», – приговаривал он. И так вот, с высоко поднятой головой и со сломанными ногтями – десять ярких капелек крови (В душе я пролетарка! Для меня никакая работа не постыдна!), – она, бывало, возвращается на завтра на поле брани.

Потом девчонки уселись на чемодан, взяли за руки и совершенным дуэтом, Вериным голосом и с ее акцентом рассказали историю, известную большинству членов семьи: «Когда я родилась в городе Чаковец, что в Хорватии, в восемнадцатом году, была еще Первая мировая война, и австрийские солдаты, когда увидели, что Австрия проигрывает, сразу сиганули по домам, и моя мама, которая боялась, как бы они нам чего не понаделали, увезла меня на поезде к своим родителям в Белград. А я из-за того, что есть было нечего, стала жуткая уродина, тощая, с пневмонией, и с насморком, и с кашлем, и мама подымала меня в поезде выше всех, над пассажирами, а там теснота и вонь, и полно пьянчуг, и люди ей кричали: да выброси уже из окна эту хворую кошку! Скоро придут с войны мужики и сварганят детей новых и красивых!»

Маленькая компашка в клубе для членов кибуца покатывалась со смеху. Вера кричала «Браво!» и хлопала в ладоши. Нина, сидящая напротив меня и Рафаэля, покачала головой со странным выражением, смесью веселья и презрения. «Вы только взгляните, как она довольна!» – говорила ее горькая улыбка, и Рафаэль да и я вместе с ним в едином порыве отвели от нее глаза, чтобы не участвовать в союзе с ней против Веры.

«А мой папа, – вскочили близняшки и, стоя, продолжали рассказывать Вериним голосом, – он был настолько военным человеком! Йо! И наша мама все время ему говорила: «Но ведь, Бела, у тебя в доме нет солдат, а есть четыре дочери!» Но он по-другому не умел, и откуда ему уметь? У него в душе сидел сержант-майор, даже когда в один прекрасный день он уже и в армии-то не служил. И когда он входил в дом, мы сразу вставали в его честь, даже если мы, извиняюсь, сидели в венгерской уборной, сущий кошмар!»

И обе встали на колени, потом поднялись на ноги и прищелкнули каблуками. «Поросль» разразилась хохотом и аплодисментами. «А мама моя очень была закрытая. – Девочки с тихой печалью опустили подбородки на кончики пальцев. – Боялась его до смерти. Все боялись! Ни один человек в городе слова сказать ему не смел!» Близняшки вздернули подбородки и вдруг на секунду стали до того похожи на молодую Веру, что просто не верится, ведь в их жилах нет ее крови. «Как-то раз, мне тогда было лет пятнадцать, – продолжала Вера их устами, – я увидела, как папа поднимает руку на маму. Не знаю, откуда у меня взялся кураж, я без стука влетела к ним в комнату и сказала папе: «Все! Баста! Это в последний раз! Больше ты ей пощечин не даешь! И больше ты на мою маму не орешь!» И папа застыл как вкопанный, и из-за этого я два года с ним не разговаривала...»

Уже в пятнадцать лет – сказал Нинин взгляд, задержавшийся на Рафаэле, – уже тогда была железная.

«А папа, – закончили близняшки, – каждый вечер просовывал записочку мне под дверь: «Может быть, сердитая госпожа слегка смягчилась?». А я – ни за что!»

И снова обе единым жестом вскинули головы с острым Вериним выражением лица, с поджатыми губами, и комната загремела от аплодисментов и возгласов, а Вера соскочила со своего кресла, специально для нее разукрашенного, встала

между девчонками, которые на голову ее выше, и помахала в воздухе их руками. «Еще минутку внимания, послушайте, детки, кое-что еще, что забыли рассказать про моего папу. Раз было так: моя старшая сестра, Мира, ей было уже девятнадцать, может даже двадцать, а в маленьком соседнем городке устраивали такие любительские спектакли, и был один спектакль очень известный, в котором Мире дали роль очень важной дамы с длинной сигарой, и вот мой папа выскакивает из зала на сцену и при всем честном народе дает ей хорошую затрещину – бах! «Ты у меня не покуришь!»»

«Но, Вера, дай девчонкам отдышаться, ты скрутила им руки!» – хохотал Шлоймеле, муж Эстер, а Вера: «Еще секунду послушайте, девочки, чтобы у вас был материал для моего столетнего юбилея: я... с тех пор, как мне исполнилось семнадцать, папа каждый вечер стал класть у моей двери новую пачку сигарет и писал на ней, что он надеется, что твердокаменная соплячка смягчится...»

«Но соплячка так и не смягчилась», – одними губами прошептала Нина Рафаэлю со своего места.

«Что? Что ты сказала?» – Верина голова мигом обернулась назад, в сторону Нины. Трудно понять как – на какой частоте – Вера поймала слова, которые Нина беззвучно о ней произнесла. «Ничего, ноль», – пробормотала Нина. Вера отпустила руки девчонок и вдруг устало прошаркала к своему креслу.

Но тут же пришла в себя, выпрямилась, положила ногу на ногу – и обе ноги, не доставая до пола, закачались в воздухе: «Дети мои, дорогие мои, прежде всего я хочу от всего сердца поблагодарить вас за прекрасный прием, который вы устроили в мою честь, а я очень хорошо знаю, сколько все вы работали здесь вплоть до вчерашней ночи – трудились, варили и готовили, и развешивали на стенах мои фотографии, чтобы все увидели, какой я когда-то была красавицей!» – громкие аплодисменты в зале. «И сейчас тоже! И сейчас!» – «И ради меня вы приехали сюда со всех сторон, о господи! Откуда только ни приехали, а моя Нина добиралась даже из Норвегии, с тремя пересадками, из своей маленькой заснеженной деревушки, и я знаю, насколько это тебе тяжело, Нина, и как ты занята, и насколько твоя тамошняя работа важна и священна... И несмотря на это, ты нашла для меня время и приехала, чтобы поучаствовать в моем празднике... – Нина поерзала на своем стуле и что-то прошептала. – Ладно, ладно, – торопливо сказала Вера. – Я просто хотела вам сказать, насколько я рада и счастлива, что все вы у меня здесь, кроме моего дорогого Туви, который, увы, не с нами, и любимого моего Милоша, которого нет уже пятьдесят семь лет,

и как я благодарна, что вы с открытой душой приняли меня в свою чудесную семью и позволили мне стать ее частью. И я каждое утро снова говорю спасибо, не Богу, ни в коем разе, и не спорь со мной сейчас, Шлоймеле, не спорь! Ты не прав, и я скажу тебе почему, потому что если бы Господь был, он бы уже давным-давно покончил с собой, хватит, слышали мы тебя, слышали, клерикалист! Над чем вы так смеетесь, над чем? Что, я не права?»

А Нина сидела, глядела на этот жужжащий семейный улей, в котором Вера – королева без Египта[15 - Египетский фараон Менес (ок. 3050 г. до н. э.) сделал пчелу эмблемой Нижнего Египта. Она считалась образцом бесстрашия, самоотверженности, презрения к опасности и смерти, а также стремления к порядку и к идеальной чистоте. Пчелу изображали на гробницах первой династии фараонов (3200–2780 гг. до н. э.). На картушах пчелу изображали перед именем фараона.], и то, что она видела, и манило ее, и отталкивало (я это ощущала и даже сама чуть-чуть подобное испытывала), и вдруг я почувствовала к ней жалость, к этой женщине.

«Но даже и не рассуждая про Шлоймелиного бога, – продолжала Вера, – я, к счастью, действительно каждый день заново говорю спасибо за то, что встретила здесь дорогого моего Тувию, который подарил мне тридцать два счастливых года совместной жизни, и спасибо, спасибо, спасибо за то, что я встретила здесь Рафи, Хану и Эстер, его детей, которые согласились меня принять, и ведь Рафи тогда еще был мальчиком, ему едва исполнилось шестнадцать, представляете, какое у него сердце, если он согласился на то, чтобы к ним пришла чужая тетка...» На глазах у нее выступили слезы, другие тоже плакали. Глаза у Рафаэля покраснели, да и нос тоже – эта большая пористая клубничина...

Я взяла у него камеру – как всегда, было трудно вытащить ее из его руки, – и очень медленно прошлась по всей комнате. По знакомым лицам, молодым и потертым жизнью, любимым и раздражающим, каждая морщинка и родинка на которых мне знакома. Когда я дошла до Нины, она слегка наклонила голову, и я чуть-чуть на ней задержалась, и точное совпадение движений нас обеих почему-то меня взволновало. Я вернула камеру Рафаэлю и села. Как-то вдруг подогнулись колени.

Празднование продолжалось, шло потихоньку на убыль. Мы попили кофе и полакомились пирогами, которые напекла Вера, а потом стали расходиться.

Вера пригласила Рафаэля с Ниной попить на прощание кофе у нее в комнате – перед тем, как разъедутся, она – в Хайфу, в свое съемное жилье, а он – в Акко, в его пустую и тоскливую квартиру. Уже довольно давно у него в жизни нет женщины, и это тоже меня тревожит. Рафаэль без женщины всегда для меня как бы заблокирован, а я люблю своего Рафаэля, когда он разблокирован. Вера, разумеется, предложила мне остаться и провести с ней остаток дня. Но я уже была как на иголках и чувствовала, что обязана вернуться домой, потому что там меня ждал разговор с Меиром, который, как мне вдруг показалось, нельзя отложить даже на секунду, разговор гибельный, если не сказать конечный. И поэтому все, что рассказано отсюда и далее, – это информация, которую я получила задним числом от моего отца и учителя Рафаэля и слегка дополнила сама. «И снова мы встретились и не поговорили», – сказал Рафаэль Нине, когда она провожала его к машине. Нина шла, как всегда, с опущенной головой, обхватив себя руками. Рафаэль размышлял, вспоминает ли она, как и он сам, о том, что рассказала ему в последние минуты их предыдущей встречи, пять лет назад. Тогда она жила в Нью-Йорке, и сейчас ему хотелось спросить ее, кружится ли она и на новом месте, на острове, что между Лапландией и Северным полюсом, в том же вихре жизни, что тогда, с американскими кобелями. Так она их называла. Но заставить себя об этом заговорить он не мог. Помнил, как себя почувствовал, когда она ему про это рассказала.

В какой-то момент она взяла его под руку, и они пошли медленно, в темпе, который задавала она. «Мне было странно, до чего медленно, – отметил он, когда мне рассказывал. – Ведь всегда, всю жизнь мне за ней бежать». Они подошли к его машине, «Контессе-900», двадцатитрехлетней старушке, «что в самом расцвете лет», как сказал Рафаэль. «Ну и красотуля! – засмеялась Нина и отскребла ногтем воображаемое пятнышко с залепленного грязью и птичьим пометом лобового стекла. – Судя по всему, бизнес социального работника цветет пышным цветом!» – «И тебе тоже браво!» – сказал Рафаэль. «Почему? Что опять не так сделала?» – «Да ничего особенного, только что ты здесь уже два дня и завтра утром улетаешь черт знает на сколько, и умудрилась не побыть со мной наедине даже пяти минут. – Нина натянуто рассмеялась. – Чего ты так меня боишься? – спросил Рафаэль и сразу вскипел от обиды, что в его стиле. – Мы уже старые, Нина, а мир – поганый и злой. Не пора ли немножко подобреть друг к другу?» – «Какое от меня добро, Рафи? Я просто крест, бревно в глазу, пойми ты уже это наконец, откажись от меня, хватит!» – «Да я уже давным-давно от тебя отказался!» – Он попытался изобразить смех, слова выходили тяжелые, скособоченные. Он увидел, как сжались ее губы. Ему немного польстило, что сделал ей больно, и самому стало тяжело на душе. Это был их давний церемониал, но Рафаэль почувствовал, что роли как-то сместились. Что у их

разговора есть какой-то новый тайный участник.

«Может, все же попробуешь чуть-чуть меня зауважать? Хоть для отвода глаз? – сказала она, и было шаловливое кокетство – в словах, но не в интонации, и голос вдруг стал напряженным. Рафаэль промолчал, пытаюсь понять, что он услышал. – Не выходит, да? – пробормотала она с болью в голосе. – И ты прав».

Она вытащила свою руку из его руки, снова себя обхватила и задрожала. Неписанный закон их взаимных истязаний состоит в том, что она испытывает огромную потребность в его отвергнутой нежности и что аксиома его упорной и абсолютной любви – одна из немногих стабильных вещей в ее жизни. «Но тут было нечто новое», – рассказал мне Рафаэль, который почувствовал, как земля медленно уходит у него из-под ног. Он еще попытался ухватиться за нечто знакомое, за их легкий треп: «Иногда, ты будешь смеяться, это у меня как язва желудка или как рана, которую я обязан все время почесывать, чтобы продолжать что-то к тебе испытывать». – «Вот уж с язвой желудка меня еще не сравнивали! – пробурчала Нина с горьким смехом. – Ладно, давай обнимемся и скажем до свиданья. – Она как всегда его обняла, пару раз похлопала по спине, побарабанила обеими ладошками по пузу. – Как гору обнять», – пожаловалась она ему в грудь, но все же прильнула к нему и так оставалась на минуту дольше, чем обычно. Так сказал мне мой папа, любитель эротических финтифлюшек. Ну ладно, буду беспристрастной и ей подыграю: к нему трудно не прижаться, трудно с ним не пообниматься. Когда прикасаешься к этому телу, крупному и крепкому, что-то на тебя действует – признаюсь, даже и на меня. Как концентрат «Эншур», пробуждающий надежду. И действительно потрясающе («Пиши все, – учил он меня, когда я была его скрипт-супервайзершей, а он еще занимался режиссурой, – пиши все, что приходит в голову, в конце концов все относится ко всему, таков закон!»). И правда удивительно, как такой ломкий, ранимый да и нездоровый человек, как он, может вселять в тебя такое ощущение уверенности и устойчивости. Он же со своей стороны – так он сказал мне – при расставании с ней постарался не совершить ни одной ошибки. Опасался, как бы не забыть с ней и не потерять контроль. «Тело ее осталось почти таким же, как было», – откровенничал Рафаэль, хоть я его и не спрашивала, а, наоборот, настойчиво просила помолчать и не вдаваться в подробности – да я ведь и сама ее видела: тело длинное и тонкое, более худое и костлявое, чем было, и те же крохотули – груди – определение с двойным дном, которое я придумала для нее в годы юности и до сего дня я немного им горжусь. Нина рывком клюнула его в щеку, и, к его удивлению, пробормотал он, ее пальцы погладили его мягким движением, которое он уже позабыл.

Он попробовал удержаться и все же спросил, должен ли он прождать еще пять лет, пока увидит ее снова. И Нина сказала: «Поди знай, на этот раз все может произойти гораздо быстрее, чем ты думаешь, моя жизнь – цирк!» И по ее сухому смешку он почувствовал, что Нина ему на что-то намекает и что-то скрывает от него, как всегда, чтобы он попал впросак со своими догадками. До чего же они изнурительные, эти встречи с ней, подумал он. Эти ее болезненные и нервные движения, как колебания маятника, он уже слишком стар, чтобы из-за них страдать. Нина почувствовала, что ему уже не вмоготу, и поспешила затолкнуть Рафаэля в его «Контессу», чтобы стало понятно, кто тут командир расставания, и даже захлопнула за ним дверцу и облокотилась об открытое окно. Ее лицо было рядом с его лицом, и они долго-долго глядели друг на друга. «Ни одна женщина не смотрит на меня так, как она», – сказал мне Рафаэль. «Что значит так?» – спросила я и постаралась сдержаться. «Ну, с такой смесью всякого-разного». – «С какой такой смесью, объясни», – уперлась я. Голос у меня получился этаким автоматическим, как у той, что объявляет номер этажа в лифте. «Люби с горем пополам, – сказал Рафаэль и угадал смысл моего взгляда, но не захотел принимать в нем участия. – Или страсти с горем пополам», – сказал он, и я чуть не заорала, с трудом заставила себя заткнуться – какая страсть, какая? Она ведь не считает тебя за человека, а для «сношений», как их называет Вера, у нее полно кобелей, которых она использует одного за другим. Так что?

А в душе я знала, что Рафаэль прав. И что есть в ней и смесь издевки с отчаянием и жестокости с отчаянием. Отчаяние там всегда, это основной цвет ее глаз. И я крепко-накрепко ввинтила в голову этот портрет этих двоих, чтобы суметь его воспроизвести, если когда-нибудь – кто знает? – сниму картину о нем и о ней (версия жертвы). Ее лицо у его лица в открытом окне машины, они не касаются друг друга, но они вместе, в этакой напряженной суровости, постоянно натянутой, как тетива перед вылетом стрелы. Неужели так же смотрели друг на друга, когда делали меня? Или, может, перед тем, как он кончил, она на секунду его остановила и заставила взглянуть ей в глаза? И предупредила ли его тогда, хоть взглядом, что она на это не способна, что нет в ней этого? Что он делает дочь для одного себя?

А пока суд да дело, родилась бедняжка Гили.

Нина снова положила руку на лицо Рафаэля. На его растрепанную бороду. Это было странно. Он чувствовал, что на этот раз ей трудно расстаться. Она вдруг

прикоснулась к его лбу, к тому месту, в которое боднула его сорок пять лет назад и на котором возникла знаменитая шишка, оказавшаяся лишь слабым намеком на те рога, которые вырастут у него в будущем. «Пока, полубрат», – сказала она со вздохом, легко шлепнула ладонью «Контессу» и ушла, и Рафаэль пробормотал свою часть прощальных слов, а я в тысячный раз подумала: «Эй, в общем-то я возникла из брака родственников, чего же странного, что я получилась так себе?»

Рафаэль, направляясь к выезду, медленно объехал маленькую стоянку квартала старожилов и вдруг услышал, что кто-то свистнул ему – свист знакомый, и в боковом зеркале увидел догоняющую его Нину. В этом было что-то необычное. При всех своих бесконечных метаниях по белу свету движения у Нины были как у леди. Она рванула на себя дверцу и уселась возле него. «Поехали!» – «Куда?» – «Неважно, мне просто нужна движуха». И Рафаэль, просияв в душе, нажал на газ, и они тронулись.

«Мы, может, минут десять молчали, – сказал мне Рафаэль по телефону. – Твоя мама сидела, откинув голову назад и закрыв глаза». Как известно, задача скрипт-супервайзерши – уловить все мелкие детали. Например, почти немислимый перескок Рафаэля с «Нины» на «твою маму», указывает на немедленную опасность. Длинные, с легкими прожилками руки Нины подпирали ее бедра. Он с трудом подавил в себе желание схватить ее руку в свою грубую лапу. Не открывая глаз, Нина спросила, есть ли у него в машине музыка, и он ответил: «Поищу в бардачке», – и малость застеснялся, что она увидит, какой у него вкус. Он и в этой области застрял в шестидесятых с теми же кассетами «The Moody Blues», и «The Seekers», и «Mungo Jerry», но, как видно, у нее не хватило сил или желаний открывать ни бардачок, ни глаза.

«Я ехал, – рассказывал мне Рафаэль, – летел, в жизни так не водил, и чувствовал, что мы, – я услышала в его голосе кривую улыбку, – как пара из фильмов! Ну, в которых мужик похищает свою возлюбленную из-под венца с кем-то другим». Я слушала и не до конца разгадывала его интонацию. Чего это он заговорил голосом девочки-подростка? И Нина, не посмотрев на него и не открывая глаз, сказала: «Рафи, я должна кое-что тебе рассказать. Ты сидишь?»

Он расхохотался, но во рту у него пересохло.

«Со мной, видимо, кое-что случилось».

«Что за кое-что?»

«Проблема. Болезнь».

«Врешь».

«Ну, эта дурацкая болезнь... – продолжала Нина. – Когда забываешь. Сто раз подряд говоришь одно и то же, сто раз подряд задаешь тот же вопрос...»
Рафаэль мигом снизил скорость. «Это твой очередной прикол, верно? Ты это несерьезно. Слишком ты для этого молодая». И она повернула к нему голову.
«Амнезия, – сказала она. – Деменция, Альцгеймер, ку-ку, что-то из этого семейства. Время еще возьмет свое, видимо, несколько лет, так мне сказали, сейчас я только в начале начал и с полной чашей открытий и новизны. Но поезд уже тронулся со станции. Даже и сейчас, в этот момент, я понемножку стираюсь, вот посмотри. – Она поднесла руку к его глазам. – Сейчас она цветная, через три-четыре года она станет мертвенно-белой, а потом прозрачной. Нет-нет, не останавливайся!» – «Но я не могу об этом говорить, не глядя в твое лицо». – «Все сотрется, даже ты, даже Гили и, может, даже Вера, хотя такого я не могу себе представить. Езжай! Не останавливайся. Если ты остановишься, я не смогу говорить. – И засмеялась: – Я вроде тех кукол, которых нужно двигать, чтобы они говорили: «Ма-ма, ма-ма!»»

Он спросил ее, как она это обнаружила. И Нина рассказала, на сей раз без всяких шуточек. В том месте, где она живет, на севере, на маленьком острове архипелага, что между Лапландией и Северным полюсом, там нельзя хоронить. Слой льда там уплотняется и выбрасывает тела наружу, а белые медведи их съедают и могут начаться заражения и эпидемии, поэтому раз в году все жители проходят проверки, и если кто-то болен опасной или неизлечимой болезнью, он обязан покинуть этот остров и вернуться на сушу.

«Это ужасно, это жестоко!» – пробормотал Рафаэль, а Нина сказала: «Вовсе нет. Там это закон, и тот, кто приезжает туда жить, заранее знает, что таков закон». «Я не это имел в виду», – сказал мой отец. Ехал он медленно. Водители ему гудели и показывали жестами, что они о нем думают. У него голова трещала от утверждений и аргументов, которые должны опровергнуть то, что она ему рассказала. Она это заметила и вздохнула:

«Брось, Рафи. Дай умереть. Эта жизнь и без того была сплошной прорухой. – И снова громкий смех, похожий на вой. – Может, она и правда не для каждого».

На первом разъезде они развернулись и поехали обратно в кибуц. Рафаэль думал: «Итак, я возвращаю ее под черную хупу...[16 - «Черная хупа», или свадьба на кладбище, – иногда восточноевропейские евреи устраивали ее, когда случались холера, тиф, грипп и другие эпидемии. Черная хупа (свадебный балдахин) была установлена посреди могил на городском кладбище, раввин совершал службу, и горожане радовались и приносили подарки из всего, что могло понадобиться новой паре для создания домашнего хозяйства.] В конце концов оно меня победило, это ее «Дай умереть». Он спросил, знает ли Вера. «Вера узнает через несколько минут, но тебе я хотела рассказать первому, как про беременность. – Он промолчал. – Ты и правда первый, Рафи, я впервые слышу, как вслух произношу эти слова. – Он не в силах был говорить. – Малость больно, что ты так вот молчишь», – сказала она, и ее рука отыскала его лапу, и ее пальцы нашли себе место среди его пальцев.

«Это в общем-то довольно логично, разве нет?» – сказала она. «Что тут логичного?» – простонал он. «Логично, – ответила она. – Если пятьдесят с лишним лет ты изо всех сил стараешься позабыть один факт, ну, скажем... что когда тебе было шесть с половиной лет, твоя мама тебя бросила, кинула на съедение псам, так в конце концов ты и все остальные факты забываешь».

«Твоя мама тебя не бросала, – продекламировал Рафаэль то, что он ей ответил. – Ее и саму бросили на съедение псам, в тюрьму, на каторгу, у нее никакого выбора не было». «А ты попробуй это объяснить шестилетней девчонке», – продекламировала Нина свой ответ. «Но ты уже не шестилетняя девчонка», – сказал Рафаэль. «Именно что да», – ответила Нина.

Рафаэль въехал на стоянку Вериного квартала. Он выключил мотор и повернулся к ней. «Сейчас не говори ничего, – приказала она и приложила палец к его губам. – Не сострадай и не утешай». Он поцеловал ее палец. И не осмелился спросить, куда она поедет, если ей не разрешат остаться на острове. Боялся, что вернется в Нью-Йорк, к этим выродкам, которым она обрыднет, стоит им узнать, что она больна. Он представил себе, как она потонет там в своей болезни и не вспомнит, как вернуться назад, и подумал, что, если будет нужно, он одолеет страх перед полетами и полетит, чтобы быть с ней там или привезти ее обратно в Израиль, если она того захочет. «Все возможности открыты, – сказала Нина, – то есть для меня все закрывается. Шаг за шагом закрывается. Даже интересно

смотреть, как все происходит. Все крошечные, микроскопические движения, которые тело сейчас производит, да и душа тоже. Настоящая бюрократия по приему в болезнь еще до того, что я что-то поняла».

В маленьком зеркальце он увидел, как Вера движется, направляясь к ним, – одна рука на талии и сама вся малость скособочена. «Что это значит, так меня бросили и оба исчезли? – возмущенно сказала она. – Нина, ты же сказала, что остаешься на ужин. Я уже нарезала салат. – И сунула голову в машину и потянула носом. – Что такое? – спросила она резко. – Что случилось, детки? Снова перецапались? А ты что плачешь? Что ты ей наговорил, Рафи?»

Нина вдруг схватила руку Рафаэля и стала целовать его пальцы, один за другим. Это была странная дань уважения, смутившая всех троих. Вера быстро убрала голову из машины и стала смотреть куда-то вдаль. Нина вышла, подошла к Вере и положила ей руки на плечи. «Пошли, майко, – со вздохом сказала она, – надо поговорить».

«А честно? – спросил Рафаэль, когда позвонил мне из машины сразу, как с ними расстался. – Все, что она, твоя мама, у меня отбирала все эти годы, раздувает меня сейчас изнутри, меня взрывает. Я чувствую себя как перед кровоизлиянием в мозг, точно тебе говорю». Когда он позвонил, я была почти перед въездом в мошав, и у меня тоже возникло ощущение, что я вот-вот схвачу инфаркт из-за того, что он рассказал о болезни Нины. Ощущение такое, будто из какого-то сложного сооружения, которое я строила всю свою жизнь, вытащили замковый камень. Первая мысль, которая пришла в голову, – сейчас, когда такое случилось, невозможно провести ту беседу с Меиром, которую я собралась провести. Может, как-нибудь потом. Через несколько дней. «Слушай, Гили, давай говорить откровенно! – кричал, по-настоящему кричал Рафаэль. – Я не шибко талантливый человек, нет, не прерывай меня. В моем возрасте я уже знаю, чего стою. Снимать фильмы, например, я более или менее умею. Умел. Не Антониони, и не Трюфо, и уж точно не Тарантино, но я это ремесло знал, и если бы здесь, в Израиле, дали мне еще какой шанс и не подставляли ножку под каждую мою попытку, я бы снял фильмы и получше». Я промолчала. Я думала, как ужасно, что мой папа под конец сдался злобным выпадам критиков. «Знаю, что я был искусным портным от искусства, а не гением, но ведь в любой профессии требуются люди типа меня, и, как по мне, это нормально, и пусть обзывают меня слюнтяем, пусть обзывают философом за грош, пусть говорят...» И тут он, как всегда, свернул на боковую дорожку и стал излагать пункты

обвинения против него, которые мне хорошо знакомы, которые я десятки раз слышала от него самого и от других, но на этот раз он тут же затормозил: «Ладно, эту жизненную главу я давно закрыл, Гили, вырезал, прочистил рану, чтобы никаких метастазов, и двинулся дальше, и у меня есть профессия, которую я люблю, которая мне гораздо больше подходит, настоящий мир и настоящие люди...»

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Кибуц – сельскохозяйственная коммуна в Израиле, характеризующаяся общностью имущества и равенством в труде и потреблении. Кибуцники – члены этой коммуны.

2

Галут – еврейская диаспора.

3

Поселенцы – жители израильских поселений на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.

4

Шива – недельный траур в иудаизме.

5

Первые слова из песни «Я верю» – слова еврейского поэта Шауля (Саула) Черниховского.

6

«Женщины в черном» – женское антивоенное движение. Первая группа была сформирована из израильских женщин в Иерусалиме в 1988 году, после начала Первой интифады.

7

Бейт-Лесин – театр в Тель-Авиве.

8

Лия ван Лир (урожденная Лия Семеновна Гринберг (1924–2015) – основательница и директор Иерусалимского международного кинофестиваля.

9

Гистадрут – профсоюз Израиля.

10

«Сад благоуханный» – Шейха Нефзауи. Изд-во «Геликон», 2010.

11

Йом а-Зикарон – День памяти павших в войнах Израиля и жертв террора.

12

Хаим Гури (1923–2018) – израильский прозаик и поэт, переводчик, журналист, кинорежиссер.

13

Мошав – вид сельских населенных пунктов в Израиле.

14

В романе «Человек, который смеется» мальчика крадут компрачи́косы – термин, которым Гюго окрестил преступное сообщество торговцев детьми.

15

Египетский фараон Менес (ок. 3050 г. до н. э.) сделал пчелу эмблемой Нижнего Египта. Она считалась образцом бесстрашия, самоотверженности, презрения к опасности и смерти, а также стремления к порядку и к идеальной чистоте. Пчелу изображали на гробницах первой династии фараонов (3200–2780 гг. до н. э.). На картушах пчелу изображали перед именем фараона.

16

«Черная хупа», или свадьба на кладбище, – иногда восточноевропейские евреи устраивали ее, когда случались холера, тиф, грипп и другие эпидемии. Черная хупа (свадебный балдахин) была установлена посреди могил на городском кладбище, раввин совершал службу, и горожане радовались и приносили подарки из всего, что могло понадобиться новой паре для создания домашнего хозяйства.

Купить: https://telnovel.com/ru/grossman_david/kogda-nina-znala

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)